ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ



На маяк

Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. НА МАЯК
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. У ОКНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОХОДИТ ВРЕМЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МАЯК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Аннотация

В однотомник избранных произведений английской писательницы Вирджинии Вулф (1882–1941) включены произведения разных жанров, дающие представление о разных сторонах дарования писательницы. Это романы «Миссис Дэллоуэй» (1925) и «На маяк» (1927). повесть «Флаш» (1933), лучшие рассказы писательницы, а также литературно-критические эссе.

Вирджиния Вулф
НА МАЯК

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ



ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО



МОСКВА
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА•
1989

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. У ОКНА



1

— Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придется пораньше, — прибавила она.

Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена, и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот, после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежа уже в свои шесть лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальства тронуто тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога Офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник оправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск поседевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев — все это различалось и преображалось у него в голове, уже с помощью кода и тайнописи, тогда как воплощенная суровость на

вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением ножниц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен.

— Да, но только, — сказал его отец, остановясь под окном гостиной, — погода будет плохая.

Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был неспособен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что

жизнь — вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямился и маленькими сощуренными голубыми глазами обшаривал горизонт), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки.

— Но погода еще, может быть, будет хорошая — я надеюсь, она будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи и несколько нервно дернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтрему, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки смотрителю для сынишки с туберкулезом бедра; прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то без толку, дом захламляет, и отправит беднягам, которым, наверное, до смерти надоело день-деньской только и делать, что начищать фонарь, поправлять фитиль и копошиться в крохотном садике — пусть хоть немного порадуются. Да, вот каково это — месяц, а то и дольше быть отрезанным на скале с теннисную площадку размером? Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души; женатому — не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки-ноги переломали; день за днем смотреть на пустые

волны, а когда поднимается буря — все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь, и башню качает, и носа наружу не высунешь, не то тебя смоет. Вот каково это? Как бы вам такое понравилось? — спрашивала она, адресуясь, в основном, к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь.

— Резко западный ветер, — сказал атеист Тэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе, и, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, иными словами, самый что ни на есть неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи, миссис Рэмзи не отрицала; и что за манера соваться, вконец огорчать Джеймса; но все равно она его не даст им в обиду. «Атеист». Тоже — прозвище. «Атеистишка». Роза его дразнит; Пру дразнит; Эндрю, Джеспер, Роджер — все его дразнят; даже Таксик, старикашка без единого зуба, и тот его тяпнул за то (по заключению Нэнси), что он сто десятый молодой человек из тех, кто погнался за ними вслед до самых Гебридов, а ведь как бы славно побыть тут одним.

— Вздор, — очень строго сказала миссис Рэмзи. И дело даже не в склонности к преувеличеньям,

которая у детей от нее, и не в намеке (справедливом, конечно) на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке, но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны, как церковная крыса, «способностей необыкновенных», муж говорил; от души ему преданы и приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему — за рыцарство, доблесть, за то, что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщине просто не может не льстить — такое доверчивое, мальчишеское, почтительное; которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя; и беда той девушке — не дай Бог такого кому-нибудь из ее дочерей, — которая этого не оценит и не почует нутром, что за этим стоит.

Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнался. Его пригласили.

Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои пятьде-

сят, она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться: муж; деньги; его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть — нет, никогда ни на секунду она не пожалела о взятом решении; не избегала трудностей; не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный, и дочки — Пру, Нэнси, Роза, — подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тэнсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее; возможно, в Париже; повольготней; не в вечных хлопотах о ком-то; потому что поклонение, рыцарство, Британский Банк, Индийская империя, перстни, жабо в кружевах — были, честно сказать, у них под сомненьем, хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности и заставляло, сидя за столом под взором матери, уважать ее странную строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости (так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает), когда она строго их одернула из-за несчастного атеистишки, который погнался за ними — или, если точнее сказать, — был приглашен погостить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка нельзя будет высадиться, —

сказал Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя под окном рядом с ее мужем. В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое; пусть бы продолжали беседовать. Она на него посмотрела. Жалкий экземпляр, говорили дети, сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет; горбится; шаркает. Злая ехидна, — говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно — вечно взад-вперед прогуливаться с мистером Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто «блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен», кто несомненно «одареннейший человек в Бейллиоле»[1], кто покамест прозябает в Бедфорде[2] или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его Пролегомены[3] (мистер Тэнсли захватил с собою первые страницы машинописи на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть) к какой-то области математики или философии

---

[1] Примечания: 1

один из известнейших колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 г. (основатель — Джон Бейллиол)

[2] Примечания: 2

женский колледж Лондонского университета

[3] Примечания: 3

введение (вошедшее в научный обиход слово греческого происхождения)

будут опубликованы.

Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала насчет «несусветных волн». «Да, — сказал Чарльз Тэнсли, — море несколько неспокойно». — «Вы промокли насквозь, не правда ли?» — сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», — отвечал мистер Тэнсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав.

Но, дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности; не в повадке. В нем самом — в его понятиях. О чем ни заговоришь — об интересном, о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно, мол, теплый вечер, и почему бы не погулять, Чарльз Тэнсли, — вот что несносно, — пока как-то так не передернет, не сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать — он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, — они говорили, — как тебе нравится его галстук. А уж какое там нравится, — прибавляла Роза.

Крадучись, как холостяки после званого обеда, сразу после еды восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям в доме, где иначе ничего не обсудишь тишком: галстуки мистера Тэнсли; прохожденье реформы; морских птиц; бабочек;

ближних; а солнце меж тем затопляло мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался, и рыданье юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, этюдники, мошек, черепа мелких птиц, и выманивало запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купанья вместе с песком полотенец.

Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки, — куда от них денешься, да только уж зачем с ранних лет, — огорчалась миссис Рэмзи. До чего они непримиримы — ее дети. Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред — сочинять несоответствия, когда, слава Богу, и без того никакой гармонии нет. В жизни хватает, очень даже хватает настоящих несоответствий, — думала миссис Рэмзи, остановясь в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных; высокое и низкое происхождение; и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности; ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифическо-

го итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиным в девятнадцатом веке, умели так сладостно ворковать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них? Не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок; но сейчас ее больше волновало другое — богатство и бедность, то, что она видела собственными своими глазами, еженедельно, ежедневно, здесь в Лондоне, когда посещала то вдову, то загнанную мать — сама, с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалованья и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манером из обычной женщины, занимающейся филантропией (примочка к больной совести, средство для ублажения любопытства), сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко — исследователем социальных проблем.

Вопросы это неразрешимые, — так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за нею следом в гостиную, — молодой человек, над которым все потешались; стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем — она знала, не оборачиваясь. Все они ушли — ее дети; Минта Дойл и Пол

Рэйли; Август Кармайкл; ее муж, — все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала:

— Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тэнсли?

У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть. И через десять минут она явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, огибая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза (и, как в кошачьих глазах, в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства), не надо ли ему чего.

Они затеяли грандиозную вылазку, — сказала она смеясь. Отправляются в город. «Марок, бумаги, табаку?» — предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угожденья (она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала), но не мог пробиться сквозь серо-зеленую сонь, которая все обволакивала, отнимая слова, летаргией сплошного

доброжелательства; весь дом; весь свет; всех на свете, — потому что за ланчем он накапал-таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко канареечные разводы на бороде и усах, собственно, белых, как лунь. Ему ничего не нужно, — бормотнул он.

Из него бы вышел великий философ, — говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбачий поселок, — но он неудачно женился. — Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас, за углом кого-то встретит, она рассказывала; история с одной девицей в Оксфорде; ранний брак; бедность; потом он поехал в Индию; немного переводил стихи, «кажется, дивно», брался обучать мальчишек персидскому, не то индустани, но кому это нужно? — и вот, пожалуйста, как они видели, — на травке лежит.

Он был польщен; его обидели, и теперь его утешало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тэнсли воспрял духом. И, намекнув на величие мужского ума даже в упадке, и на то, что жены должны — (против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется) — все подчинять трудам и заботам мужей, она вселила в него еще неизведанное

самоуважение, и он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? Нет, нет, — сказала она, — уж это она всегда сама носит. Да, конечно. Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колеи, неизвестно, почему. Ему хотелось, чтоб она увидала его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство — все было ему нипочем, — но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись: ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, — покуда полстены не закрыла цирковая афиша; сто наездников; двадцать ученых моржей; львы, тигры… Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут «впервые показаны в нашем городе». Но это же опасно, вскрикнула она, нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу — два года назад ему отхватило косилкой левую руку.

— Все давайте пойдем! — вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость.

— Давайте пойдем, — повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выталкивал, что ее покоробило. «Пойдемте в цирк!» Нет, не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. Отчего? — гадала она. Что с ним такое? Он в эту минуту ужасно ей нравился. Разве их в детстве не водили в цирк? — спросила она. — Ни разу, — выпалил он, будто только и дожидался ее вопроса; будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не водили в цирк. Семья у них была большая, восемь человек детей, отец — простой труженик. «Мой отец аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку». Сам он с тринадцати лет себя содержит. Не одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог «соответствовать оказываемому гостеприимству» (так выморочно он выразился) у себя в колледже; вещи носит вдвое дольше, чем все; курит самый дешевый табак; махорку; вот как старые бродяги на пристани; работает, как вол — по семи часов в день; его тема — влияние кого-то на что-то — они зашагали быстро, и миссис Рэмзи уже не ухватывала смысла, только отдельные слова… диссертация… кафедра… лекция… оппоненты… Она слушала вполуха противный академический волапюк, поехавший, как по мас-

лу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из равновесья, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, сестер; и уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили; надо все рассказать Пру. Приятней всего ему, наверно, было бы потом рассказывать, как Рэмзи его водили на Ибсена. Он жуткий сноб, это да, и нудный донельзя. Вот они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по булыжнику тачки, а он все говорил, говорил: про преподаванье, призванье, простых тружеников, и что наш долг «помогать своему классу», про лекции — и она поняла, что он совершенно оправился, о цирке забыл и собирается (и опять он ужасно ей нравился) сказать ей… — но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную, перед ними раскинулась бухта, и миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула: «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды; и маяк стоял посредине седой, неприступный и дальний; а направо, насколько хватал глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные дюны в колтунной траве бежали-бежали в необитаемые лунные страны.

Этот вид, сказала она, останавливаясь, и глаза

у нее потемнели, страшно любит ее муж.

На минуту она замолкла. А-а, сказала она потом, тут уже художники… В самом деле всего в нескольких шагах стоял один, в панаме, желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный, и — изучаемый стайкой мальчишек — с выраженьем глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии всматривался в даль и, всмотревшись, склонялся; погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор как тут три года назад побывал мистер Понсфурт, все картины — такие, сказала она, — зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу.

А вот друзья ее бабушки, сказала она, скосив украдкой взгляд на ходу, — те из кожи вон лезли; сами краски растирали; потом грунтовали, и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохли.

Значит, заключал мистер Тэнсли, она хочет сказать, что картина у этого типа никчемная? В таком духе? Краски негодные? В таком духе? Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он, на набережной, собирался

ей рассказать о себе все, — он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно.

Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела, ждал, пока она на минуточку заглянет наверх, проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги; звонкий, потом матовый голос; разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики; нервничал; старательно предвкушал обратный путь; решал непременно отобрать у нее сумку; слушал, как она вышла; закрыла дверь; сказала, что окна надо держать открытыми, двери — закрытыми, и если что — пусть сразу к ней (кажется, обращалась к ребенку) — и тут она вошла, мгновенье стояла молча (будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть), мгновенье стояла, застыв под Королевой Викторией в синей перевязи Ордена Подвязки; и вдруг он понял, что это — вот оно, вот: в жизни еще он не видел никого, так дивно прекрасного.

Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах; и фиалки, и цикламены — ну что, ей-богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум пятьдесят; у нее восемь человек детей; ломкие ветки прижимая к груди и заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам; звезды в ее глазах, в волосах ее

— ветер… Он взял у нее сумку.

— До свиданья, Элси, — сказала она, и они пошли по улице, и она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то встретит сейчас за углом, а Чарльз Тэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость; человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее; уронил руки вдоль тела и смотрел на нее; Чарльз Тэнсли чувствовал невероятную гордость; чувствовал ветер, и фиалки, и цикламены, потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел завладеть ее сумкой.

2

— Ехать на маяк не придется, Джеймс, — сказал он, стоя под окном, и сказал так противно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства.

Противный молокосос, думала миссис Рэмзи, и как ему не надоест.

3

— Вот ты завтра проснешься, и еще окажется — солнышко светит, птички поют, — сказала она ласково и погладила мальчика по голове, потому что муж, она видела, своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно, и потом — уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, так нет же, противному молососу надо снова и снова совать ему это в нос.

— Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, — сказала она и погладила его по головке.

Теперь только и оставалось восхищаться ледником и листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку, такое что-нибудь с ручками, зубчиками, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа; скажет он — будет дождь; и они уже сразу: разразится страшная буря.

Но вот она перевернула страницу и вдруг прервала поиски косилки и грабель. Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки и

убеждавшее в том (хоть слов она не разбирала, сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют, — этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки — шлепки бит по мячам, выкрики: «Сколько? Сколько?» с крикетной площадки, — звук этот вдруг оборвался; и рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям или, когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельной в исполнении природы: «Я опора твоя, я защита твоя», но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал, но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров ведь оседает, того гляди его проглотит море, предупреждал посреди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга — вот этот-то звук, затененный было и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши, и она вздрогнула и вскинула взгляд.

Они уже не разговаривали; вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств, с любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства она заключила, что бедняжку Чарльза Тэнсли отставили. А это уж не ее забота. Если мужу нужны

жертвы (о, еще как нужны!), она ему с удовольствием жертвует Чарльза Тэнсли, который обидел ее бедного мальчика.

Она еще мгновенье вслушивалась, подняв голову, ловя привычный, ровный, механический звук; и вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив, со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песне и карканью, и тотчас она успокоилась, убедясь, что все идет хорошо, и глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать, только если будет очень стараться.

Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы:

Под ярый снарядов вой![4]

ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. Только одна Лили Бриско, убедилась она с удовольствием; ну, это ничего. Но, глянув на девушку, стоявшую у края лужка с мольбертом, она вспомнила: ей же надо по возможности не вертеть головой — ради картины Лили. Картина Лили! Миссис Рэмзи

[4] Примечания: 4

строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады»

усмехнулась. С этими своими китайскими глазками и личиком с кулачок замуж ей не выйти; картины ее нельзя принимать всерьез; но она такая независимая, бедняжечка, миссис Рэмзи это в ней страшно ценила, и, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.

4

Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя: «Смело кидаясь в бой!»[5], но, слава Богу, рывком повернул и галопом помчался прочь, славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы. Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но покуда он этак вопит и размахивает, можно не опасаться; он не остановится, не уставится на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот в напряжении всех чувств вглядываясь, впитывая, покуда цвет стены и лепящегося к ней ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился; но почему-то по шагам угадала, что это Уильям Бэнкс, и хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же (как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тэнсли, Пол Рэйли, Минта Доил,

---

[5] Примечания: 5
строка из того же стихотворения Теннисона

да кто угодно, в сущности) не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом.

Они квартировали в деревне и, входя, выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это сближало; так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом (он ей в отцы годился, ботаник, вдовец, пахнул мылом, такой щепетильный и чистый), она тоже осталась спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинированна, до завтрака уже уходит с мольбертом, одна, надо думать: вероятно, бедна, и хоть, что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной, розовой мисс Доил, зато у нее голова на плечах, а это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несся на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла.

Кто-то ошибся![6]

Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не

---

[6] Примечания: 6
из того же стихотворения

видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну. Потому-то, решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс, верно, и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись. Но не без труда она оторвала глаза от картины.

Ломонос был неистово фиолетовым; стена — слепяще белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть — и куда что девалось. В этот-то зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать и, борясь с незадачей, она себя подбадривала; повторяла: «Да, так я вижу; так вижу» и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которое злые

силы вовсю у нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, на нее, холодя, отрезвляя, накатывало другое: бездарь, ни на что не годна, отца держит на Бромптон-роуд, на задворках, — и неимоверных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи (слава Богу, не бросилась пока) и сказать — но что же ей скажешь? «Я вас люблю»? Но это неправда. «Я люблю это все», жестом очерчивая изгородь, дом, детей? Глупость, чушь несусветная. То что чувствуешь — невозможно словами сказать.

И она сложила кисти в этюдник, аккуратно, одну к одной, и сказала Уильяму Бэнксу:

— Вдруг холодно стало. Солнце, что ли, больше не греет? — сказала она, озираясь, и солнце светило достаточно ярко, сочно зеленела трава, дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи роняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом, мимо теннисного корта, куртины, к тому проему в густой изгороди, охраняемому двумя пучками тритом — пламенеющих лилий, в который синие воды бухты глянули синей, чем

всегда.

Их что-то тянуло сюда каждый вечер. Будто вода пускала вплавь мысли, застоявшиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом схлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через миг оторопеть и застыть от колющей черноты взъерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер, через неравные промежутки, так что ждешь его — не дождешься, и всегда наконец ему радуешься, белый взлетал фонтан, и пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивают бледную излучину побережья перламутровой паволокой.

Так стоя, оба они улыбались. Обоим было весело, обоих бодрили бегущие волны; и бег парусника, который устремление очерчивал по бухте дугу; вот застыл; дрогнул; убрал парус; и, естественно, стремясь к завершенью картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны, и вместо веселья нашла на них грусть — то ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали (думала Лили) словно на мильоны лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю.

Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи; думал про деревенскую улицу в Уэстморленде, и Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано, Уильям Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, простершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно», и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и, как тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Ему это было важно установить, ради дружбы, а еще, возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел, Рэмзи

ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен — ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи (по-своему великого человека), но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся впиталась в пыль Уэстерморленда, когда курица распростерла крылья над своим выводком; после чего Рэмзи женился, их пути разошлись, и винить тут решительно некого, если при встречах появилась тенденция повторяться.

Да. Вот так-то. Он замолчал. Повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем, по въездной аллее, перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тела дружбы, со всей алостью губ погребенной в торфянике, — например Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по откосу. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела «дать дяде цветочек», как ни уговаривала няня. Нет! Нет! Нет! Ни за что. Сжимала кулачок. Топала ножкой. И мистер Бэнкс себя почувствовал старым, ему стало грустно, вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел.

Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. Восемь человек детей!

Восьмерых детей прокормить на философии! Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо, птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично тряхнув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят (правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кой-какие независимые средства), не говоря уж о бесконечных обновках, которые всем этим «бравым ребятам» — рослым, буйным сорванцам — требуются ежедневно. Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев: Кэм Непослушная, Джеймс Беспощадный, Эндрю Справедливый, Пру Красивая — ведь Пру должна быть красивой, куда она денется, а Эндрю — умным. Пока он шел по въездной аллее и Лили Бриско отвечала «да» или «нет» и все его оценки побивала единственным козырем (она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир), он взвешивал положение Рэмзи, соболезновал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нимб отрешенности и аскетизма, его окружавший в юности, и распростерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что

дали; кто спорит; Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия; но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как, интересно, на свежий глаз? Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек? Крайностей, даже, пожалуй, слабостей? Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться — ну, положим, это чересчур сильно сказано, — так зависеть от чужих похвал?

— И все же, — сказала Лили. — Подумайте о его работе!

Когда сама она «думала о его работе», всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. Это все Эндрю. Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект и природа реального», — сказал Эндрю. И на ее: «О, господи, да как же это понять?» — «Вообразите кухонный стол, — сказал он, — когда вас нет на кухне».

И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганый стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И

болезненным усилием воли она себя заставила сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганого, в глазках и прожилках стола, из тех, что словно кичатся своей прямотой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими четырьмя, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и промениваешь дивные вечера, оправленные фламинговым пушком облаков, серебром и синью, на белый сосновый стол о четырех ножках (чем и заняты изощреннейшие умы), тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой.

Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила «подумать о его работе». Он про это думает, очень думает. «Буквально без конца, — сказал он. — Рэмзи один из тех, кто лучшую свою работу пишет до сорока». Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего двадцать пять; последующее — лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, — все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристраст-

ный. И, словно двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений, все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это — первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это — второе. Ее пригвоздило остротою догадки; да это же строгость; и доброта. Я безмерно вас чту (говорила она без слов), вы не тщеславны; внутренне независимы; вы благородней мистера Рэмзи; вы благороднее всех, кого доводилось мне знать; у вас ни жены, ни детей (она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем), вы посвятили жизнь науке (к сожалению, перед глазами у нее всплыли разрезанные картофелины); от похвал бы вас только коробило; великодушный, чистосердечный, возвышенный человек! Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея; сгонял с кресел собак; нудно распространялся (покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью) о растительных солях и прегрешениях английских кухарок.

Как же все это согласить? Как судить о людях, как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить — один мне нравится, другой не нравится? Да и что в конце-то концов означают

эти слова? Она стояла, пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш, и голос, ее собственный голос, без подсказки провозглашал непререкаемое, безусловное, спорное, даже трещины и складки коры припечатывая навеки. В вас есть величие, в мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен; он избалован; тиран; он страшно изводит миссис Рэмзи; но в нем есть кое-что, чего в вас (она адресовалась к мистеру Бэнксу) нет как нет; он отрешен до безумия; отметает мелочи; он любит детей и собак. У него восемь человек детей. У вас — никого. Но как он недавно предстал в двух плащах перед миссис Рэмзи, требуя, чтоб она соорудила ему прическу в виде формы для пудинга? Все это пружинило вверх-вниз, вверх-вниз в голове Лили Бриско: как рой мечущихся, каждая сама по себе, но охваченных невидимой сеткой мошек; натекало сквозь ветви груши, в развилке которой еще витал образ струганого стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи; мелькало, мелькало, пока не лопнуло от напряжения; ей полегчало; совсем рядом грянул выстрел; и прочь от его раскатов

метнулась стайка всполошенных скворцов.

— Джеспер, — сказал мистер Бэнкс. И, потянувшись за сметенным летом улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое:

— Кто-то ошибся!

Глаза, заволоченные волненьем, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами, и в них затлелось узнаванье; но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд; словно он умолял их секунду повременить с тем, что, он знал, неизбежно; словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошеное вторженье, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства, нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, как хлопнул у них перед носом дверью; и Лили Бриско и мистер Банке, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, пустившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.

5

— Даже если завтра погода и будет плохая, — сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, — так в другой раз будет хорошая. А теперь, — сказала она, решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина, — а теперь встань-ка, я твою ножку измерю. (Потому что, может, они еще выберутся на маяк и ей надо взглянуть, не следует ли чуть надвязать чулок.)

Нежно улыбаясь своей восхитительной мысли — Уильям и Лили непременно должны пожениться, — она взяла чулок из пестрой шерсти, крест-накрест по устью запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге.

— Стой тихонько, детка, — сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки смотрителя и нарочно вертелся; ну и как же ей в таком случае разобраться — длинно ли, коротко ли, — спрашивала она.

Она подняла глаза, — и что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? — увидела

гостиную, увидела кресла, — жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу; верно Эндрю на днях выразился; ну, а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухе и он буквально насквозь промокает? Ничего: зато он снимается за бесценок; дети его обожают; и мужу полезно очутиться за тридевять земель, а точнее, за триста миль от библиотек, от учеников и от лекций; и для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне — здесь получали права; ну, кой-какие фотографии и, разумеется, книги. Книги, она подумала, размножаются почкованьем. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох. Даже уж книги, поднесенные ей, надписанные собственноручно поэтом: «Той, чья участь повелевать…» «Более удачливой Елене наших дней»… стыдно сказать, она ведь их не открыла. И Крума «О разуме», и Бэйтса «Обычаи дикарей Полинезии» (Стой тихо, детка! — сказала она) тоже ведь не пошлешь на маяк. Рано или поздно, подумала она, дом захиреет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в

комнаты весь пляж — и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать, и если Джеспер считает, что из водорослей получается суп, — тут тоже никуда не денешься; у Розы — свое: тростники, камни, ракушки; они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате, вздохнула она, окидывая гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса, — дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает; отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настежь и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов, — что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины — что толку? Через две недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери; буквально все настежь. Она вслушалась. В гостиной открыто; в прихожей открыто; так и есть — небось и в спальнях открыто; и уж, конечно, открыто окно на лестнице, его-то она открыла сама. Окна надо открывать, двери закрывать, кажется, просто, неужто так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных, там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки, ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух, а дома у них, она сказала, «горы-то

какие красивые». Так она сказала вчера вечером, заплаканная, возле окна. «Горы-то у нас какие красивые». У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала (как стелится постель, как открывается окно, на французский манер расправляя пальцы), а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то, как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья, и стальное сверканье их синевы перетекает в сдержанную лиловость. Она стояла и молчала, ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это — как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, — она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу:

— Стой тихо. Не балуйся, — и он тотчас понял, что она сердится не на шутку, вытянул ногу, и она ее смерила.

Чулок был короток по крайней мере на полтора сантиметра, даже делая скидку на то, что сынишка Сорли и менее рослый, чем Джеймс.

— Коротко, — сказала она. — И намного.

Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скопилась

слеза; скатилась слеза; воды качнулись, — сглотнули ее, затихли. Никто никогда не глядел так печально.

Но быть может, — люди говорили, — все дело в ее внешности? Что за этим — за красотою, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы — тот, другой, прежний, о котором ходили слухи? Или — и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которой ничем не испортить? Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах, растоптанной любви, вставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники, прямодушие научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать и парить и пикировать прямо на истину, — а это захватывает; это поддерживает и дарит надежду — обманную, быть может.

«У природы немного той глины, — как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего

ему объясняла расписание поездов, — из какой она лепила вас»[7]. Он ее представлял себе на том конце провода, — гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость — с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грации сошлись на лугах асфоделей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет Юстонским, в десять тридцать.

— Но она не больше ребенка печется о своей красоте, — сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя кабинет, чтоб взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И, наблюдая суету среди недостроенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно, он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное; она нахлобучивает войлочную шляпу; несется в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое (они покамест грузили кирпич на носилки) и его приплюсовывать к общей картине; а если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность; предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, слов-

[7] Примечания: 7

стихотворные строки из романа английского писателя Т.-Л.Пикока (1785–1866) «Хедлонг Холл»

но ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют, а ей хочется быть как все — незаметной. Непонятно. Непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол.

Снова принимаясь за толстый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, наброшенной на золоченую раму, и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минутную резкость, взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб.

— Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать, — сказала она.

6

Но что случилось?

Кто-то ошибся.

Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что что-то случилось, кто-то ошибся. Господи боже, да что ж там такое?

Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти — погибла, рассеялась. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды — Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.

Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым неопровержимым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие,

она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенеся на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой манишке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, подняв глаза на опять проходящего мимо мужа, она с облегчением убедилась, что беда миновала; победила приручeнность; вновь завела свой баюкающий напев привычка; а потому, когда на повороте он намеренно остановился возле окна и шутливо нагнулся — пощекотать голую ногу Джеймса каким-то там прутиком, она ему попеняла, что спугнул «бедного юношу Чарльза Тэнсли». Тэнсли надо писать диссертацию, — сказал он.

— Джеймсу в свое время тоже придется писать диссертацию, — сказал он с ухмылкой, орудуя прутиком.

Джеймс ненавидел отца и оттолкнул этот прутик, которым в обычной своей манере — смесь серьезности и дурачества — он щекотал ногу младшему сыну.

Она вот хочет покончить с этим нудным чулком, чтоб уж послать его завтра сынишке Сорли, — сказала миссис Рэмзи.

Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк, — раздраженно отрезал мистер Рэмзи.

Откуда ему это известно? — спросила она. — Ветер ведь меняется часто.

Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбыточные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. «Фу-ты, черт!» — сказал он ей. Но что она такого сказала? Только — что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет.

Нет, если барометр падает и резко западный ветер.

Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показались ей таким чудовищным попранием всех человеческих правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонила голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну, что на такое сказать?

Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он

сказал наконец, что готов пойти, расспросить береговую охрану, если угодно.

Никого она так не чтила, как чтила его.

Ей и его слова вполне довольно, — сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают, поминутно к ней прибегают, естественно, — за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно, дети растут; часто ей кажется — она просто-напросто губка, напитанная чужими чувствами. И вот он говорит: «Фу-ты, черт!» Он говорит — будет дождь; говорит — дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не чтила. Она знала — она недостойна развязать ремень обуви его.

Уже стыдясь собственной вспышки и того, как размахивал он руками, несясь во главе рати, мистер Рэмзи, довольно глупо, ткнул напоследок голую ногу сына и, словно получив разрешенье жены (и до смешного ей напомнив тюленя в Зоологическом саду, когда, заглотнув свою рыбу, тот плюхнется прочь, расколыхав всю воду в бассейне), он нырнул в линяющий вечер, который лишал уже объемности листья, изгороди и, словно взамен, одевал гвоздики и розы сиянием, какого в них не было днем.

— Кто-то ошибся, — сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.

Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским деньком поет не о том»[8], будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «Кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил, — умолк.

Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне и, как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собственно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешенье проблемы, которая поглощала все силы его блистательного

---

[8] Примечания: 8
из детских стишков

ума.

Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, — его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел — уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, — жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо — а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до Р — это уже кое-что. П он достиг. Тут он окопался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р… Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше.

«Значит, Р…» Он подобрался, напрягся.

Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды — выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, — пришли к нему на выручку. Значит, Р… да, так что же такое Р?

Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, — он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р…

Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе — снова пришли к нему на выручку.

Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь — не хочешь — древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны — неустанные, сверх упорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой — одаренные,

вдохновенные, разом сглатывающие все буквы — гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем — завяз на П. Ну, так вперед — к Р.

Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра — такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.

Он застыл подле урны со стекающими геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он — не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну, а славы его — надолго ли станет? Даже умирающему герою

позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет? (Иронически адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди.) В самом деле — что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну, а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот — в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.

Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о

том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив, и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключенья? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадуется, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва; подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединенья, и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову — кто его упрекнет, если он склоняется перед красою вселенной?[9]

[9] Примечания: 9

«Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! …Краса вселенной!» («Гамлет», акт II, сц. II). (пер. Б.Пастернака)

7

А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился; ненавидел за то, что им помешал; ненавидел за преувеличенную изысканность жестов; за эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм (стоит и требует, чтобы им занимались); но всего больше ненавидел он этот трепет, эту натянутость, дрожь, которой рябило ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в страницу, он надеялся его отогнать; ткнув пальцем в слово, надеялся вернуть внимание матери, которое, он понял с тоскою, сразу отвлеклось на отца. Но нет. Мистера Рэмзи не так-то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия.

Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан, и она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и билась (покуда сама миссис Рэмзи осталась спокойно сидеть и опять взялась за чулок), и в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская

скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. Он не состоялся, — сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тэнсли…» — сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью, — гостиная; за гостиной — кухня; над кухней — спальни; и рядом — детские; чтоб все они ожили, наполнились жизнью.

Чарльз Тэнсли его считает крупнейшим современным мыслителем, — сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен; необходим; не только здесь, во всем мире. Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском; приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она вязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх, навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил,

требуя сочувствия.

Он не состоялся, — повторил он. Да что ты, опомнись, ну, посмотри! Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своею уверенностью (так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя), что все это — на самом деле; полный дом; и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться, в какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя; ничего своего не осталось, все было отдано, расточено; и Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипенем, в пляске ветвей и листьев принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия.

Насытясь ее словами, затихнув, как кормленое дитя, он сказал наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдется; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.

Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как

складывается на ночь цветок, вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творенья.

Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих связывал утешеньем, какое дарят друг другу, сливаясь, два разные — один высокий, один низкий — струнные голоса. И все же, когда замер последний отзвук и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной (так всегда бывало, не сразу, но после), к ощущению усталости примешивалось что-то смутно тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось; и она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все: ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа; и потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну, конечно, она нисколечко не сомневалась, что все эти университеты и люди

без него пропадут; что все эти его лекции, книги необходимы, как воздух; но их отношения, то, что он к ней подходит так, у всех на глазах — вот что негоже; ведь скажут — он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в тысячу раз важней, и то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Ну, и еще другое, — что она не смогла, не решалась сказать ему правду, например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в пятьдесят фунтов; и потом — насчет его книг — ведь она побаивалась, как бы он сам не догадывался о том, что смутно подозревала она: что последняя книга — не лучшая из его книг (это она заключила со слов Уильяма Бэнкса); и приходилось утаивать повседневные мелочи, и дети замечали, а им это вредно — и все вместе взятое отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и полый.

Тень легла на страницу. Это Август Кармайкл шаркал мимо, и сейчас, главное в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений; даже лучшие из них — с червоточиной, не выдерживают досмотра, который, любя мужа и с этим своим правдолюбием, она затеяла вдруг; когда

она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело, так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, и черт дернул ее за язык спросить:

— Погуляли, мистер Кармайкл?

8

Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели, — они говорили, — у него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно — бедняга несчастен, каждый год приезжает к ним, как в прибежище; и однако же, каждый год она чувствовала все то же — он ей не верит. Она говорила: «Я — в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» И чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный; роняет все на пиджак; нудный, как все старики, которым решительно нечего делать; и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рэмзи, нам с вами надо покалякать наедине», — и миссис Рэмзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у ней клянчить? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые

он от нее терпит. И вот (ну, разумеется, из-за жены, а то отчего бы?) теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната. Дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок, не хотите ли табаку? Вот эта книга вам непременно понравится, и прочее. И в конце-то концов, в конце концов (тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало, о своей красоте) — в конце концов ей обычно ничего не стоит понравиться человеку; Джордж Мэннинг, например; мистер Уоллис; знаменитые, кажется, люди, а захаживают же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься — знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог; и в конце концов, как ею ни пренебрегай, как ни тяготись ею — красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины, да и женщины сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же — не

совсем это так, не совсем то. Главное, неприятно, что именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют; что вся ее эта жажда давать, помогать — сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать, чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи! Милая миссис Рэмзи… миссис Рэмзи вообще…» и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли? Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах, ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях — что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны — даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно (щеки впали, волосы поседели), не такая уже отрада для взоров — не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот комок нервов (остальные все — дети как дети) — своего сына Джеймса?

— «Опечалился рыбак, — прочла она вслух. —

Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего, пошел он к морю. Смотрит — а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак…»

Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес; он глянул; он кивнул; кивнул поощрительно; и двинулся дальше.

Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и на сына, снова глядя на урну с красными никнущими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листах, как попавшие под руку в угаре чтенья клочки бумаги хранят наши записи, — глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. Не будь никогда на свете Шекспира, спрашивал он себя, много ли переменился бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека со времен фараонов? Является ли участь среднего человека критерием,

по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существованье рабов. Служитель при лифте есть непреложная необходимость. Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. Не надо, не надо; лучше найти лазейку и несколько снизить роль искусств. Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека; что искусства — лишь побрякушки на человеческой жизни; они ее не выражают. И Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он дернул с изгороди листок. Всем этим можно попотчевать через месяц юнцов в Кардиффе, подумал он; здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется (он отбросил содранный в таком раздраженье листок), как кто-то, свесясь с коня, набирает охапку роз или набивает карманы орехами, топча наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое; тот поворот, тот плетень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишащие биографиями, и баталиями, и преданьями, и стихами,

и живыми фигурами — там воин, а там и поэт; и все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник, и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на оброти коня и дальше идет пеший, один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту.

Хочешь не хочешь, а такая судьба у него, такой уж заскок — вот так убегать на узкий край земли, постепенно смываемый морем, и стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар — вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим, но ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темнотою людского неведения (мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног) — уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз и так сжимается, что не то что о славе не помнит, не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся виденьями, и таким вот манером вызывает он у Уильяма Бэнкса (переменчивого) и Чарльза Тэнсли (раболепного), а сейчас у жены

(она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка) чувства восхищения, жалости и еще благодарности, как бакен на фарватере, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означить глубины.

«Но отец восьмерых детей не имеет выбора»... Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения, и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног, зрелища, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальней, навело бы на какие-то выводы; и вот нашел утешение в пустяках, столь несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим; он, в сущности, счастлив; у него такая жена; такие дети; через месяц он подрядился молоть разную белиберду перед юнцами в Кардиффе про Локка, и Юма, и Беркли, про истоки французской революции. Но все это, и удовольствие, которое ему

давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищенье юнцов, знаки признания из Соунси, Кардиффа, Эксетера, Саутхэмптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа — все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную белиберду» — ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска; скрытность человека, который боится себя проявить, не может прямо сказать: «Вот что я люблю, вот кто я»; что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, и они недоумевали, зачем эта скрытность нужна; зачем ему вечно нужны похвалы; почему человек такой дерзостной мысли — в жизни так робок; и удивительно даже, как он одновременно достоин восхищения и смешон.

Выше сил человеческих — проповедовать и учить, — предположила Лили. (Она принялась складывать кисти.) Если чересчур высоко вознесешься, уж непременно брякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом — эти резкие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей, — сказала она.

Он направился к ним. Вот застыл, стал в молчанье смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.

9

— Да, — сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. — Страшно досадно. (Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения.) Да, — сказал мистер Бэнкс, — страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски. (Лили Бриско ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне откровенно.) Потому-то, — сказал он, — нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу, — и этот еще будет нас поучать? Так, думалось мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества. Лили призналась, что, к стыду своему, со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее оттого, что царапину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды. Но ведь кого он обманет? Он у вас открыто выклянчивает восхищения, лести, своими мелкими уловками он никого не обманет. И ей претит эта его узость, эта его слепота, — сказала

она, глядя в удаляющуюся спину.

— Чуть-чуть лицемер? — предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи, и разве он не думал о его дружбе и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок и про всех этих девчонок, и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа… Тем не менее ему страшно хотелось, чтоб Лили Согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, «чуть-чуть лицемер».

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опуская. Подняла глаза — мистер Рэмзи шел прямо на них, вперевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. Чуть-чуть лицемер? — повторила она. Ох, нет — искреннейший из людей, самый честный (вот он, идет), самый лучший; но она опустила глаза и подумала: он слишком занят собой, он тираничен, капризен; и она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, «влюбленностью». Они превращаются в частицу того невозможного, дивного целого, каким мир

делается в глазах любви. К ним ластится лето; ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, — что жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег.

Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная, или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так, и не иначе, если учесть его шестой десяток, и его чистоту, беспристрастность и как бы облекший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви десятка юнцов (хотя не известно еще, удавалось ли миссис Рэмзи стяжать любовь десятка юнцов). Это любовь, — думала она, якобы занявшись холстом, — профильтрованная, очищенная; не цепляющаяся за свой предмет; но, как любовь математика к своей теореме или

поэта к строфе, призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет; отчего, глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему, доказал нечто неоспоримое о пищеваренье растений и тем самым навеки одолел варварство и поборол хаос.

Из-за его восторга — а как же еще прикажете это назвать? — у Лили Бриско совершенно вылетело из головы все, что она намеревалась сказать. Чушь какую-то; что-то насчет миссис Рэмзи. Все бледнело рядом с этим «восторгом», этим немым созерцанием, за которое она была истинно ему признательна; ведь что еще может так утешить, так развязать жизненные узлы, так облегчить, как не эта высшая сила, небесная благодать, и ее не станешь тревожить, пока она длится, как не будешь ломать привольно разлегшийся поперек пола солнечный луч.

То, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс способен чувствовать такое к миссис Рэмзи (она его оглядывала в раздумье), в сущности, ведь

помогает жить, возвышает душу. Она вытирала старым лоскутом одну кисть за другой, нарочно с особенной тщательностью, таким образом прячась от восхищения, распространявшегося на всех женщин сразу. В сущности, ведь это и ей самой комплимент. Пусть его смотрит. Тем временем можно взглянуть на картину.

Она чуть не расплакалась. Картина была плохая, плохая, из рук вон плохая картина! Ну, конечно, все можно бы сделать иначе; цвет — тоньше, бледней; формы — воздушней; так это увидел бы Понсфурт. Но она-то так не увидела. Для нее цвет горел на стальном каркасе; сиял бабочкиным крылом на контрфорсе собора. От всего этого на холсте осталось несколько небрежных разводов. Да никто и смотреть-то не будет; не повесят даже; и опять мистер Тэнсли ей нашептывал в уши: «Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером»…

Наконец она вспомнила, что она собиралась сказать про миссис Рэмзи. Неизвестно, как бы она сформулировала; что-то критическое. На днях ей не очень понравилась некоторая самоуверенность. Разглядывая миссис Рэмзи под углом зрения мистера Бэнкса, она думала, что ни одной женщине не дано так восхищаться другою, как

вот сейчас восхищается он; остается только вместе укрыться под шатром, который раскинул над ними обеими мистер Бэнкс. К снопу его лучей она присовокупила свой отдельный, особенный лучик, решив, что миссис Рэмзи неоспоримо прелестнейшая из людей (когда склоняется так вот над книжкой); быть может, самая лучшая; и все-таки она не похожа на тот безупречный образ, предлагаемый нашим взорам. А почему непохожа, чем непохожа? — спрашивала она себя, соскребая с палитры горы зеленого и голубого, оказавшиеся на поверку безжизненными комками, и клянясь себе завтра же их одухотворить, оживить, заставить струиться по ее произволу. Да, так чем же она непохожа? Что в ней — зернышко, что в ней — суть, и почему, найдя в углу дивана перчатку, вы по замятому пальцу сразу решите, что перчатка — ее? Скорая, как птица, неотвратимая, как стрела. Своевольная; властная. (Ну, конечно, спохватилась Лили, я имею в виду ее отношения с женщинами, и я же гораздо моложе, и кто я такая — живу на задворках на Бромптон-роуд.) Распахивает окна в спальнях. Запирает двери. (Она старалась настроиться на лейтмотив миссис Рэмзи.) Вернувшись заполночь, легонько постучавшись к

тебе, окутанная старой меховой шубкой (она всегда так оправлена — наспех, и однако, к лицу), она могла изобразить что угодно: Чарльз Тэнсли посеял зонтик; мистер Кармайкл шаркает и сопит; мистер Бэнкс рассуждает: «Таким образом, теряются соли растений». И всех она очень ловко изображала; даже зло передразнивала. А потом, отойдя к окну, якобы собираясь идти — уже утро, вот-вот солнце встанет — и опять отворотясь от окна, уже задушевно, хотя и смеясь еще, она убеждала, что всем, всем — ей, Минте — всем надо замуж, потому что какими бы ни осыпали вас лаврами (миссис Рэмзи ни в грош не ставила ее живопись), какие бы вам ни достались победы (миссис Рэмзи, вероятно, свое получила), — тут, погрустнев, затуманясь, она возвратилась к ее креслу — ясно одно; незамужняя женщина (она легонько потрепала ее по руке), незамужняя женщина теряет в жизни самое ценное. И дом был полон, казалось, детским сном, бдением миссис Рэмзи; ночниками и тихим посапыванием.

Ах, но ведь могла возразить Лили, у нее есть отец; есть свой дом; и даже, простите, живопись. Но все это было так мелко, наивно в сравненье с другим. Да, и покуда редела ночь и белое утро натекало сквозь щель между шторами, и уже

подавала голос в саду какая-то птица, она набиралась отчаянной храбрости объявить, что она — исключенье из общего правила; и доказывать: она любит быть одна, сама по себе; она не создана для другого, — с тем, чтоб наткнуться в ответ на серьезный, несравненно бездонный взор и непререкаемую уверенность миссис Рэмзи, что ее миленькая Лили, ее Бриска-киска (она вдруг превратилась в ребенка) — простонапросто дура. И тут, помнится, она положила голову на колени миссис Рэмзи и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти истерическим смехом, мысли о том, как миссис Рэмзи царственно вершит судьбы тех, кого решительно не дано ей понять. Вот, сидит — серьезная, простая. Вернулось прежнее ощущение — насчет замятого пальца. Ну, и в какое-такое мы тут проникли святилище? Лили Бриско наконец подняла глаза. Миссис Рэмзи недоумевала, что тут смешного, — все такая же царственная, но уже ни следа своеволия, и вместо него — что-то светлое, как прогал, наконец-то открывшийся за облаками, кусочек ясного неба, дремлющего подле луны.

Что это? Мудрость? Знание? Или скорей золотая обманная сеть красоты, улавливающая все наши предположения на полпути к правде? Или в ней

упрятан секрет, на котором, Лили нисколько не сомневалась, и зиждется судьба человечества? Не всем же мыкаться, вечно перебиваться, как она сама? Но если что-то знаешь — почему не открыть? Сидя на полу, изо всех сил сжимая колени миссис Рэмзи, улыбаясь мысли, что миссис Рэмзи вовек не догадается, отчего она так обнимает ее, она думала, что в покоях сердца и ума этой женщины, сидящей сейчас — ближе некуда, как сокровища в царских гробницах, упрятаны тайные начертания, которые, если их разгадать, нас бы всему научили, но их никогда не откроют, никогда не прочтут. Какой же ключ, известный любви или хитрости, отпирает эти покои? Какое есть средство стать, как смешавшаяся в одном сосуде вода, неотторжимым от предмета твоего обожания? Достигает ли этого тело или дух, незаметно свиваясь с другим в тончайших мозговых переходах? Или сердце? Могла бы любовь, как это называется у людей, объединить ее с миссис Рэмзи в одно? Ведь ей не знание нужно, но единение, никакие не начертания, ничего, что пишется на каком бы то ни было языке, но сама близость, которая ведь и есть знание, думала она, уткнувшись в колени миссис Рэмзи.

Ничего не произошло. Ничего! Ничего! — пока

она лежала головою на коленях миссис Рэмзи. И тем не менее она поняла, что мудрость и знание хранятся у миссис Рэмзи в сердце. Как же, спрашивала она себя, что-то узнаешь про людей, если они опечатаны? Только кружишь над куполом улья, как пчела, приманясь недоступной осязанью и вкусу вязнущей в воздухе сладостью, порыщешь в одиночку над дальними странами и кружишь над ульями с их жужжаньем и давкой, над ульями, которые люди и есть. Миссис Рэмзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рэмзи ушла. И потом не один еще день, как после нашего сна проступает легкая перемена в том, кто нам снился, сквозь все, что говорила она, пробивался призвук жужжанья, и, сидя в плетеном кресле в гостиной подле окна, она для Лили облекалась торжественно очертанием купола.

Этот луч, вровень с лучом мистера Бэнкса, упал прямо на миссис Рэмзи с Джеймсом на коленях. Но пока она так смотрела, мистер Бэнкс уже отвел взгляд. Он надел очки. Отступил. Поднял руку. Он чуть сузил ясные голубые глаза, и тут Лили, приподнявшись, поняла, в чем дело, и сжалась, как собака, увидевшая поднятую для удара руку. Ей хотелось содрать картину с мольберта, но она сказала себе: крепись. Она готовилась выдержать

жуткую пытку, когда будут смотреть на ее картину. Крепись, она говорила себе, крепись. И если кто-то будет смотреть — лучше уж мистер Бэнкс. Но открыть любому постороннему взгляду отстой своих тридцати трех лет, осадок всех прожитых дней, замешанный на том более тайном, чего она все эти дни не показывала, не открывала, — была настоящая пытка. И удивительно, с другой стороны, волнующее переживание.

Что могло быть, однако, спокойней и будничней? Мистер Бэнкс вытащил перочинный ножик и костяной ручкой ткнул в холст. Что она хотела изобразить фиолетовым треугольником «вот тут»? — спросил он.

Миссис Рэмзи читает Джеймсу, — сказала она. Она заранее знала его возраженья — никто не примет этого за человеческую фигуру. Но она и не стремится к сходству, — сказала она. Тогда для какой же надобности она их представила? — спросил он. Да, в самом деле — зачем? Разве что затем, что, если вот тут, в этом углу светло, — тут, вот в этом, ей необходим темный тон. Просто и очевидно, общее место, но мистер Бэнкс, однако же, заинтересовался. Значит, мать и дитя — предмет всеобщего поклонения, и мать, в данном случае известную своей красотой, можно, он

рассуждал, свести к фиолетовой тени, нисколько не унижая?

Но картина не о них, сказала она. То есть не в том смысле. Есть разные способы выражать свое преклонение. Например, тут вот тенью, тут светом. Ее дань уважения приняла эту форму, если, неуверенно предположила она, картина может быть данью уважения. Можно, не унижая, свести к фиолетовой тени мать и дитя. Свет тут — требует тени там. Он подумал. Он заинтересовался. Он отнесся к ее словам с наинаучнейшей добросовестностью. По правде сказать, по предубеждениям своим — он сторонник противоположной тенденции, — объяснил он. Самая большая картина у него в гостиной, которую художники хвалят и ценят дороже, чем он за нее заплатил, — цветущие вишни на берегах Кеннета, сказал он. Он провел медовый месяц на берегах Кеннета, сказал он. Однако — и, вздев очки на лоб, он приступил к научному обследованию картины. Поскольку речь идет о соотношении масс, о соотношении света и тени, над которым он, честно говоря, никогда не задумывался, он хотел бы, чтобы ему объяснили, — как полагает она поступить вот с этим, — и он жестом очертил поле зрения. Она глянула. Она ничего не могла

ему объяснить, ничего, она просто сама ничего не видела без кисти в руке. Она возвращала себя к состоянию, в каком писала: отвлеченность, отуманенный взгляд — все свои женские впечатления подчиняя чему-то более важному; вновь отдаваясь во власть тому, что уже так ясно увидела, а теперь вот нашаривала посреди изгородей, и домов, и матерей, и детей — во власть своей картине. Задача была в том, она вспомнила, как объединить эту массу направо с той, что налево. Можно было вот так все рассечь линией ветки; либо разбить пустоту каким-то предметом (например, Джеймсом) — вот так. Но она рисковала тогда разрушить единство целого. Она осеклась; она боялась ему надоесть; она тихонько сняла картину с мольберта.

Но на картину смотрели; ее увидели; забрали себе. Этот человек разделял с ней тайное тайных. И, благословляя за все миссис Рэмзи, и мистера Рэмзи, и время и место, признав за жизнью возможность, о которой не гадала — не думала: что можно идти длинной ее галереей не в одиночку, но рука об руку с кем-то, — странно-прекрасное, едва выносимое чувство, — она чересчур решительно щелкнула замочком этюдника, и этим щелчком разом, навеки замкнула в круг этюд-

ник, лужайку, и мистера Бэнкса, и мчащую мимо неугомонную Кэм.

10

Кэм чуть не сшибла мольберт; ее не мог остановить мистер Бэнкс, Лили Бриско; хоть мистер Бэнкс, который и сам бы не отказался от дочки, к ней протянул руку; не мог остановить и отец, которого она тоже чуть не сшибла; ни мать, кричавшая «Кэм, ты мне нужна на минутку!», когда она мчалась мимо. Она летела как птица, как пуля, стрела, кем пущенная и зачем, кто скажет? Что ее гонит? — глядя на нее, гадала миссис Рэмзи. Может, привиделось что — тачка, ракушка, волшебное царство по ту сторону изгороди; или это счастье бега ее гонит — кто знает? Но когда миссис Рэмзи во второй раз крикнула «Кэм!» скорость снаряда спала до легкой рысцы, Кэм сорвала на скаку листок и повернула к матери.

И о чем она только мечтает, думала миссис Рэмзи, видя, что она до того поглощена своей мыслью, что надо повторить поручение, — спросить у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Доил и мистер Рэйли? Слова как в колодец упали, где вода, пусть и чистая, так все преломляет, что уже в миг погруженья они искажаются и бог его знает в каком виде доходят в ребячьем сознанье

до дна. Что, интересно, передаст Кэм кухарке? На самом деле, лишь терпеливо выждав и выслушав сперва, что на кухне старая-старая, очень румяная тетя ест из миски суп, миссис Рэмзи наконец удалось подхлестнуть попугайский инстинкт, который в точности подцепил слова Милдред, и, если набраться терпенья, мог их выдать механической скороговоркой. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм сообщила: «Нету их еще, и я Эллен велела с чаем чтобы обождать».

Значит, Минта Доил и Пол Рэйли еще не вернулись. Это только одно может значить, думала миссис Рэмзи: она согласилась; или она отказала. Ни с того ни с сего — прогулка после обеда, пусть даже вместе с Эндрю — что может значить? Только — что она решила, и совершенно правильно, думала миссис Рэмзи (ей ужасно нравилась Минта), принять предложение славного малого, который, может быть, звезд с неба и не хватает, но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, осознав, что Джеймс дергает ее за полу, чтоб читала дальше про рыбака и рыбку, по ней, если честно признаться, лучше уж оболтусы, чем эти пишущие диссертации умники; такой, например, Чарльз Тэнсли. Во всяком случае, сейчас уж, вероятно, решилось.

Она читала: «Проснулась жена наутро рано, едва рассвело, и видит с кровати: прекрасный, прекрасный простор. Муж еще потягивался со сна...»

И как, интересно, Минта ему теперь откажет? Если согласна целыми днями с ним вдвоем по просторам шататься? (Эндрю, тот пошел за своими крабами.) Но, может, с ними и Нэнси пошла? Она старалась припомнить, как они выглядели за дверью прихожей после обеда. Стояли, смотрели на небо, сомневались насчет погоды, и она еще сказала, отчасти чтоб прикрыть их смущенье, отчасти, чтоб их подбить на прогулку (она была всецело за Пола):

— Нигде ни облачка, куда ни глянь, — причем этот молокосос Чарльз Тэнсли, который вышел с ними вместе, она уверена, ухмыльнулся. Но она же так нарочно сказала. А вот была ли там Нэнси, она, как ни напрягала зрительную память, не могла вспомнить.

Она читала дальше: «Эх, жена, — сказал рыбак. — И зачем нам королевство? Не хочу я быть королем». — «Ах так, — сказала жена, — не хочешь — не надо. Я сама королем буду. Ступай, скажи рыбке — мол, хочет жена королем быть».

— Ну, туда или сюда, Кэм, — сказала она, зная,

что Кэм приворожило слово «король» и через секунду она начнет дергать и тузить Джеймса. Кэм унеслась прочь. И миссис Рэмзи стала читать дальше, довольная, потому что у них с Джеймсом совпадали вкусы и всегда им хорошо бывало вдвоем.

«Пришел он к морю, а оно темное, серое, и волны ходуном ходят и гнилью пахнут. Встал он на берегу и говорит:

Рыбка, рыбка, рыбка,
Пожалей ты старика:
Вот жена опять послала,
Все ей, жадной дуре, мало.

— Так чего же она еще желает? — спрашивает золотая рыбка?» И что там у них? — думала миссис Рэмзи, решительно без всякого труда читая и размышляя одновременно; сказка о рыбаке и рыбке, как басовая партия, сопровождала напев и время от времени руководила мелодией. И когда ей сообщат? Если сегодня кончилось ничем, надо будет серьезно поговорить с Минтой. Нечего по просторам шататься, даже если за ними увязалась Нэнси. (Снова она попыталась вообразить удаляющиеся по тропе спины, сосчитать их — напрасно.) Она отвечает перед Минтиными

родителями — перед Совой и Щипцами. Прозвище собственного изобретения всплыло у нее в голове. Сова и Щипцы — ну, да — не очень-то обрадуются, если услышат, — а они непременно услышат, — что Минту, когда она гостила у Рэмзи, видели… и т. д. и т. п. «В палате общин он надевает парик, а дома жена выручает его на приемах», — повторила она, освещая их в памяти фразой, которую, воротясь как-то от них, придумала, чтоб позабавить мужа. Господи Боже, спрашивала себя миссис Рэмзи, и как только им удалось произвести такую нелепую дочь? Лихую Минту с дыркой в чулке? А она-то как ухитряется жить в этом их важном доме, где горничная вечно совками выносит разбросанный попугаем песок и вся беседа, в сущности, вертится вокруг подвигов, пусть и забавной, но не такой уж изобретательной птички. Естественно, как было не пригласить девочку на обед, на чай, на ужин, потом у них погостить в Финлее, и вот тут-то и пошли трения с Совой, с мамашей, и — опять визиты, опять разговоры, опять песок, и, ей-богу, сама она в конце концов так изолгалась по поводу попугаев, что сыта по горло (так она говорила мужу тогда, воротясь от них). А Минта все же приехала… Да, приехала, думала миссис Рэмзи,

и тут в ее мыслях застряла колючка; и, распутав душевный колтун, она обнаружила — вот: одна женщина когда-то ее обвиняла, что «отняла у нее привязанность родной дочери»; и что-то в словах миссис Доил напомнило ей то старое обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других плясать под ее дудку — вот возводимое на нее обвинение — совершенный поклеп. Разве виновата она, что «уж такая» на вид? Никто ей не может поставить в упрек, будто она старается впечатлять. Часто ей даже стыдно своей неприбранности. И ничего она не властолюбивая, ничего не тиранка. Ну, насчет больниц, молочных, канализации — еще справедливо, пожалуй. Тут она в самом деле лезет из кожи вон и, будь ее воля, каждого взяла бы за шкирку и ткнула в безобразия носом. На всем острове ни единой больницы. Ужасно. В Лондоне оставляют у ваших дверей молоко, просто бурое от грязи. Запретить бы такое законом. Образцовые молочные и больницы на острове — этих двух вещей она бы с удовольствием добивалась. Но как? А дети? Вот подрастут, тогда и будет у нее время; когда в школу пойдут.

Ах, да вовсе ей не хотелось бы, чтобы Джеймс хоть на йоту становился взрослей. И Кэм. Эти

двое пусть бы вечно оставались при ней, в точности как сейчас — несносные бесенята, сущие ангельчики, пусть бы и вовсе не вырастали в голенастых чудовищ. Ничем не восполнимая потеря. Вот она прочитала Джеймсу: «а вокруг воины стоят, с трубами, с барабанами», и глаза у него потемнели, и она подумала — зачем им вообще вырастать, терять это все? Он самый одаренный, самый сложный из ее детей. Но и остальные, она подумала, много обещают. Пру — с другими-то она сущий ангел, и уже сейчас, вечерами особенно, иногда дух захватывает — до чего хороша. Эндрю — даже муж признает, что у него незаурядные способности к математике. Ну, Нэнси и Роджер — эти пока неуемные, носятся с утра до вечера бог знает где. Или Роза — рот у нее до ушей, зато золотые руки. Когда ставят шарады, костюмы кто делает? Роза. Все умеет; на стол накрыть; расставить цветы; все такое. Неприятно, что Джеспер стреляет птиц; но это у него возрастное; пройдет. Зачем, думала она, уткнув подбородок в голову Джеймса, зачем они так быстро вырастают? Зачем уезжают в школу? Ей бы всегда при себе маленького иметь. Самое-самое — когда носишь их на руках. А там — пусть говорят, будто она властолюбива, деспотична, ти-

ранка; ей все равно. И, касаясь губами его волос, она подумала — никогда больше он не будет так счастлив, подумала и спохватилась, вспомнив, как рассердился муж, когда она это сказала. Но это же правда. Сейчас у них лучшее времечко. Грошовый чайный сервиз на много дней осчастливил Кэм. Она слышит, как они топочут, галдят наверху, едва проснутся. Кубарем скатываются по лестнице. Распахивается дверь — и они влетают, розовые, глазастенькие, веселые, будто этот выход к завтраку, совершающийся каждый божий день, — несусветное чудо, и так, одно за другим — целый день напролет, пока она не поднимется поцеловать их на ночь, и они за сеткой кроваток, как птички в малиннике, все плетут разные глупости — что-то услышали, что-то подобрали в саду. У каждого — свой маленький клад. И она спустилась тогда и сказала мужу — зачем им расти и все это терять? Никогда больше они не будут так счастливы. А он рассердился. Зачем так мрачно смотреть на жизнь? — он сказал. Это неразумно. Потому что — вот странно… Но это правда. При всех своих срывах и муках он ведь счастливее, в общем, жизнерадостнее, чем она. Меньше поддается житейским неприятностям, что ли. Всегда может спастись работой. Нет, и

сама она вовсе не «пессимистка», как он припечатал. Просто она считает, что жизнь… — и отрезок времени представился ее взору — пятьдесят ее лет. Вот она вся перед нею — жизнь. Жизнь, она подумала, но она не додумала мысль до конца. Она разглядывала свою жизнь, потому что та была тут как тут, рядом — подлинное, свое, чего не разделишь с детьми или с мужем. Между ними словно сделка заключена, между нею и жизнью, и каждая норовит изловчиться, надуть; а иногда они ведут преспокойно переговоры (это когда она остается одна), и бывают, ей вспомнилось, очень даже милые мирные сценки. Но по большей части она, как ни странно, вынуждена признать, находит эту штуку, именуемую жизнью, — страшной, коварной, то и дело готовой накинуться из-за угла. Есть вечные проблемы: страдания; смерть; бедняки. Вечно, даже здесь, умирает от рака какая-то женщина. А она вот сказала всем своим детям — идите по ней.

Восьмерым она безжалостно это сказала. (А починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов.) Потому-то, зная, что их ждет впереди: любовь, надежды, брошенность по разным ужасным местам — она и думает часто: зачем им расти, все терять? А потом, размахивая мечом перед носом у жизни,

она говорит: вздор. Будут они счастливы, будут. И вот, подумала она, вновь ощутив злую безысходность жизни, она подбивает Минту выйти за Пола Рэйли; ведь как ни относись к собственному опыту, и хоть лично ей выпало на долю такое, что не каждой и пожелаешь (про это лучше не надо), вечно ее подмывает всем твердить — уж слишком настойчиво, будто сама она этим спасается — нужно выходить замуж; нужно иметь детей.

Может быть, не надо так? — думала она, пересматривая свое поведение за последние две-три недели. Может быть, она чересчур наседала на Минту, которой всего двадцать четыре, чтоб та наконец решилась? Ей стало не по себе. Ведь уже смеялась, кажется, над собой. Опять она, значит, забыла, как сильно умеет влиять на других? Для брака необходимо — о! мильоны разных вещей! (починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов), — но во-первых — зачем называть? — и это главное; то, что есть у них с мужем. А вот есть ли оно у тех?

«Натянул он штаны и пустился бежать, как безумный, — читала она. — Но бушевала буря, ветер выл и сбивал его с ног. Валились деревья, дома, трясом тряслись горы, срывались в море утесы. Небо было черным-черно, гром гремел,

сверкали молнии, и ходили по морю ходуном черные волны, каждая — как башня церковная, как гора, а сверху — белая пена».

Она перевернула страницу; оставалось несколько строк, можно кончить, хоть ему пора спать. Поздно уже. Ей об этом сказало освещение сада; матовые цветы, серо поскучневшие листья, сговорясь, на нее навели тревогу. Сперва она даже не разобралась, что такое. Потом вспомнила. Пол и Минта и Эндрю еще не вернулись. Снова она вызвала в памяти тесную группку перед дверью прихожей: стоят, смотрят в небо; у Эндрю ведро и сачок. Значит, своих крабов собрался ловить. Значит, будет по скалам карабкаться; как бы его не отрезал прилив. А когда будут гуськом возвращаться узенькой тропкой вдоль скал, кто-то может и поскользнуться. Свалиться; разбиться. Почти совсем стемнело.

Но голос у нее не дрогнул, когда она дочитывала сказку и, захлопнув книжку, проговорила последние слова так, будто сама их вот сейчас сочинила, глядя Джеймсу в глаза: «Там они до сих пор и живут».

— Вот и все, — сказала она и по глазам его увидела, что в них погас интерес к сказке и что-то новое заступило; что-то удивленное, смутное,

как отблеск света, вдруг заставило его встрепенуться. Она обернулась, глянула на бухту и — так и есть — сперва зыбко прошлись по волнам два коротеньких, робких мазочка, потом длинный и прочный улегся луч маяка. Зажгли.

Сейчас он спросит: «Мы поедем на маяк?» И придется ему отвечать: «Нет, завтра — нет. Папа сказал, завтра — нет». Слава Богу, шумно явилась Милдред, и это его отвлекло. Но он оглядывался через плечо, когда Милдред его уносила, и думал, конечно: «Завтра мы не поедем на маяк». И он ведь на всю жизнь это запомнит.

11

Нет, она думала, отбирая кое-что из вырезанных картинок — ледник, косилку, господина во фраке, — ничего дети не забывают. Оттого так и важно, что говорить, что делать, и чувствуешь облегчение, когда они идут спать. Ни о ком можно не думать. Быть с собой; быть собой. Теперь у нее часто эта потребность — подумать; нет, даже не то, что подумать. Молчать; быть одной. Всегдашнее — хлопотливое, широкое, звонкое — улетучивается; и с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя — клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо — так она себя ощущала; и это «я», отряхнувши все связи, освобождалось для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей. И у всех, она подозревала, в этом чувстве — неистощимая помощь; у всех; у нее, у Лили, у Августа Кармайкла; у всех есть, наверное, это чувство — что наша видимость, признаки, по которым нас различают, — пустяки. А под этим — тьма; расползающаяся; бездонная: лишь время

от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят. Собственный кругозор казался ей сейчас безграничным. Охватывал все места, которых она не видывала: индийские плоскогорья; она отстраняла тяжелый кожаный занавес при входе в римский храм. Сердцевина тьмы может куда угодно проникнуть — никто не увидит. Ее не остановить, думала она, торжествуя. Вот она — свобода, вот он — мир, вот — и это главное — на чем можно расправиться, успокоиться, передохнуть. Нет уж, сам по себе человек, по ее опыту судя, никогда не находит покоя (тут она что-то особенно виртуозное исполнила спицами) — только когда станет сердцевиною тьмы. Отделываясь от личного, отделываешься от мук, суматохи, забот; и всегда она еле удерживала крик торжества над жизнью, когда все так вот вплывало в мир, покой, вечность; тут она замерла и подняла глаза, чтоб поймать луч маяка, длинный, прочный луч, последний из трех — ее луч, потому что, всегда в этот час и в таком настроении на все это глядя, волей-неволей себя с чем-то свяжешь особенно; я длинный, прочный луч, он — ее луч. Часто, сидя и глядя, сидя и глядя, работая спицами, сама наконец становишься тем, на что смотришь, — например, этим светом. И он вызы-

вает со дна сознания фразу, такую вот, например: «Дети не забывают, дети не забывают», и повторяешь ее, повторяешь, а потом прибавляешь что-то еще. Это кончится; это кончится, — она говорила себе, — это будет, это будет. И вдруг она сказала: «Все мы в руках Божьих».

Но тотчас сама на себя рассердилась — и зачем она это сказала? Кто сказал? Неужели она? Она попалась в силок, ошибкой сказала, чего вовсе не думала. Она подняла взгляд от вязанья и встретила третий луч, и было так, будто ее же глаза встретились с ее глазами, заглянули, как только сама она могла заглянуть в ум, в сердце, вычищая, стирая эту ложь, всякую ложь. Луч — молодцом, и сама она — молодцом; оказалась сильна, проницательна и прекрасна, как луч. Странно: наедине с собою льнешь к вещам, неодушевленным вещам; ручьям, цветам, деревьям; они тебе помогают выразиться; они тебя знают; они — это ты; их даришь нежностью, сдуру жалеешь (она смотрела на длинный прочный луч) — как жалеешь себя. Она смотрела, смотрела, и спицы застыли в руках, и со дна души, над прудом души поднималась туманная дымка, как жениху навстречу невеста.

И что ее дернуло сказать: «Все мы в руках Бо-

жьих?» — удивлялась она. Проскользнувшая в правду неискренность ее раздражала. Она снова принялась за чулок. Да какой же Бог мог сотворить этот мир? — спросила она себя. Умом она всегда понимала, что ни разума нет, ни порядка, ни справедливости; но страдания, смерть, бедняки. Нет такого предательства, такой низости, на какие этот мир неспособен, она убедилась. Счастье не вечно, она убедилась. Она продолжала вязать с решимостью и хладнокровием, чуть поджав губы и бессознательно придавая лицу такое выраженье строгости, что муж, проходя мимо, — хоть он про себя и посмеивался при мысли о том, как Юм, философ, чудовищно раздобревший, однажды увяз в болоте, — не мог не заметить этой горькой строгости на глубине ее красоты. Его она опечалила, ее отрешенность ему причиняла боль, он чувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, он был опечален. Он ничем не мог ей помочь. Только стоять и смотреть. И даже — нестерпимая правда — он портит ей жизнь. Он раздражителен. Вспыльчив. Вышел из себя из-за этого маяка. Он вглядывался в заговор изгороди, вглядывался в темноту.

Всегда, миссис Рэмзи знала, даже нехотя вы-

бираешься из одиночества, ухватясь за какой-то пустяк, что-то увидев, услышав. Она вслушалась; все было тихо; кончился крикет; дети разбрелись мыться; только говор моря остался. Она перестала вязать; длинный красно-бурый чулок на мгновенье повис, качаясь, на пальцах. Она снова увидела вспышку. Уже не без иронии — ведь когда просыпаешься, иначе относишься ко всему, она взглянула с вопросом на прочный луч, безжалостный, неумолимый — он так похож на нее, и так непохож, и никуда от него не деться (она по ночам просыпается и видит, как, развалясь поперек их постели, он свешивается до полу), и все равно, — думала она, следя за ним, зачарованно, оторопев, будто он оглаживал серебристыми пальцами закупоренный сосуд у нее в мозгу, и сейчас вот он лопнет и радость ее захлестнет, — все равно она знала счастье, полное счастье, острое счастье — а луч серебрил лохматые волны все ярче, покуда гасло небо, и убирал последнюю синь, затаившуюся в волнах, и они наливались лимонною желтизной, взбухали, вздувались и лопались на берегу, и радость вспыхнула у нее в глазах и окатила, накрыла, и она поняла — вот оно! Вот!

Мистер Рэмзи повернул и увидел ее. Ах! Как

она была хороша, он и не знал, как она хороша. Но он не решался с нею заговорить. Не смел ей мешать. Ему позарез надо было с нею заговорить, теперь, когда уже не было Джеймса и она осталась одна. Но он решил — нет; нельзя ей мешать. Она была отъединена от него своей красотой и печалью. Не надо ее тревожить. И он без единого слова прошел мимо, хоть ему было грустно, что она сейчас так далеко, не добраться, и нельзя ей помочь. И он бы снова прошел мимо без единого слова, если бы именно в этот момент она сама ему не подарила того, о чем, она знала, он никогда не попросит, и окликнула его, и сняла с рамы зеленую шаль, и вышла к нему. Ведь он хотел, она знала, ее защитить.

12

Она накинула на плечи зеленую шаль. Она взяла его под руку. Он до того красив, с места в карьер заговорила она про Кеннеди, про садовника, он так безумно прекрасен, что решительно нет возможности его рассчитать. К теплице была прислонена лестница, и повсюду валялись груды замазки, ибо осуществлялась починка тепличной крыши. Да, но когда так вот прогуливаешься об руку с мужем, хотя бы эта забота уже не страшна. У нее вертелось на языке: «Это встанет в пятьдесят фунтов», но, как всегда, когда речь шла о деньгах, она спасовала и сказала вовсе, что Джеспер стреляет птиц, а он сказал, моментально ее успокоив, что для мальчишки это естественно и, разумеется, он скоро найдет более достойный способ себя занять. Он умный, он справедливый — ее муж. И она сказала: «Да, как у всех, — переходный возраст», и стала разглядывать далии на большой клумбе и прикидывать, что сделать для цветов на будущий год, и — он слышал, как дети прозвали Чарльза Тэнсли? — спросила она. Атеист, они его прозвали — крошка-атеистик. «Не слишком блистательный экземпляр», — сказал мистер Рэмзи.

«Уж какое!» — сказала миссис Рэмзи.

Она полагает, лучше его оставить в покое, — говорила миссис Рэмзи, прикидывая, стоит ли присылать сюда луковичные; вообще-то их здесь сажают? «Ему надо писать диссертацию», — сказал мистер Рэмзи. Уж об этом она понаслышалась, — сказала миссис Рэмзи. Он ни о чем другом и не говорит. Влияние кого-то на что-то. «Ну, ни на что другое он не может рассчитывать», — сказал мистер Рэмзи. «Боже упаси, только бы он не вздумал в Пру влюбиться», — сказала миссис Рэмзи. Он ее лишит наследства, если она за него пойдет, — сказал мистер Рэмзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а куда-то на полметра повыше. В общем, он недурной малый, — прибавил он и хотел было сказать, что он единственный молодой человек во всей Англии, который ценит… — но осекся. Незачем снова к ней приставать со своими книгами. «А цветы, между прочим, вполне», — сказал мистер Рэмзи, опуская взгляд и различая что-то бурое, что-то красное. Да, но эти она собственными руками сажала, — сказала миссис Рэмзи. Вот вопрос — стоит ли посылать сюда луковичные; посадит ли Кеннеди? Неисправимая лень, — прибавила она, двинувшись дальше. Если стоять у него над

душой весь день напролет с лопатой в руке, тогда еще от него чего-то можно добиться. И они побрели дальше, к проему между факельных лилий. «Вот ты и дочек учишь преувеличивать», — с упреком сказал мистер Рэмзи. Тетя Камилла была еще в тысячу раз хуже, — возразила миссис Рэмзи. «Насколько я знаю, никто никогда не считал твою тетю Камиллу образцом человека», — сказал мистер Рэмзи. «Зато она самая красивая женщина, какую я видела», — сказала миссис Рэмзи. «Есть кое-кто и получше», — сказал мистер Рэмзи. Пру вот будет еще гораздо красивей, — сказала миссис Рэмзи. Он ничего подобного не усмотрел, — сказал мистер Рэмзи. «Ну, так присмотрись хоть сегодня», — сказала миссис Рэмзи. Постояли. Ему бы хотелось заставить Эндрю приналечь на занятия. Если нет — прости-прощай поощрительная стипендия. «А-а, эти стипендии!» — сказала она. Мистер Рэмзи считал, что глупо так говорить о серьезных вещах, о стипендии. Он бы очень гордился Эндрю, если бы тот добился стипендии, — сказал он. А она в точности так же будет гордиться, если он ее не добьется, — отвечала она. Тут они вечно не соглашались, но это не имело значения. Ей нравилось его отношение ко всяким стипендиям, ему нравилось, что она

так гордится Эндрю, что бы Эндрю ни вытворял. Вдруг она вспомнила про эти узкие тропки над пропастями.

Уже, кажется, поздно? — спросила она. Они еще не вернулись. Он беззаботно щелкнул крышкой часов. Всего полвосьмого. Минуту он постоял, не закрывая часов, решаясь сказать ей о том, что он перечувствовал, бродя по террасе. Но, во-первых, нет решительно никаких оснований тревожиться. Эндрю, слава Богу, не маленький. А потом — он хотел ей сказать, что когда он вот сейчас бродил по террасе — но тут ему стало неловко, будто он непрошено вламывается в ее уединение, отрешенность, в эту ее отключенность. Но она настаивала. Так что же такое он хотел ей сказать? — спрашивала она, думая, что это насчет маяка; ему стыдно, что он сказал тогда: «Фу-ты, черт!» Но нет. Ему неприятно было ее видеть такой печальной, сказал он. Просто задумалась, — ответила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, будто неясно, идти ли дальше, сворачивать ли. Она читала Джеймсу волшебные сказки… — сказала она. Нет, этим не делятся; такого не выговоришь.

Они дошли до проема между факельных лилий, и там опять был маяк, но ей на него не хотелось

смотреть. Если б она знала тогда, что муж ее видит, думала она, она бы себе не позволила так забыться. Ей было неприятно все, что напоминало о том, как она сидела тогда, забывшись, на глазах у мужа. И она отвернулась и через плечо посмотрела на городок. Текли и струились огни, словно повисшая на ветру серебряная капель. Вот в чем умещается вся нищета, все страданья, — думала миссис Рэмзи. Огни городка, и пристани, и судов казались призрачной сетью, огораживающей место кораблекрушения. Что ж, если ему нет доступа к ее мыслям, решил мистер Рэмзи, можно предаться своим. Посмаковать забавную историю о том, как Юм увяз в болоте; посмеяться. Но, во-первых, — какая нелепость тревожиться из-за Эндрю. В возрасте Эндрю он целыми днями бродил по округе с одним сухарем в кармане, и никто не пекся о нем и не думал, что он может свалиться с утеса. Вслух он сказал, что, может быть, на целый день отправится побродить, если позволит погода. Бэнкс и Кармайкл — хорошенького понемножку. Пора побыть одному. Да, — сказала она. Его задело, что она не стала спорить. Знает прекрасно, что никуда он не денется. Стар стал с одним сухарем в кармане целыми днями бродить. Из-за мальчишек тревожится, но

не из-за него. Давным-давно, когда еще не был женат, думал он, глядя на бухту, пока они стояли между факельных лилий, он вышагивал целыми днями. Перехватит, бывало, в трактире хлеба и сыра. Работал по десять часов, не разгибая спины; старуха только просовывала голову в дверь — проверить огонь. Вон там его самый любимый вид; эти дюны, убегающие в сонную даль. Можно целый день пробродить, не встретив живой души. И почти ни единого дома на мили кругом, ни единой деревни. В одиночестве можно все беды распутать. Там песчаные отмели, где ничья нога не ступала от начала времен. Там присаживаются и в глаза тебе смотрят тюлени. Иной раз ему кажется, что в таком вот домишке, совершенно один… он со вздохом осекся. Он не имеет права. Отец восьмерых детей — напомнил он себе. Он был бы последней сволочью, неблагодарной скотиной, если б желал хоть на йоту что-нибудь изменить. Из Эндрю выйдет человек получше него самого. Пру, говорит ее мать, будет красавицей. Ничего, если слегка обуздают. Восемь таких детей — собственно, недурная работа. Которая и доказывает, что не так уж постыло ему наше Богом забытое мирозданье, ведь вот в эдакий вечер, думал он, глядя на землю, растворенную

далью, остров кажется умилительно крошечным, наполовину проглоченный морем.

— Несчастное, Богом забытое место, — пробормотал он со вздохом.

Она расслышала. Он говорит страшно грустные вещи, но странно: стоит ему такое сказать, и сразу он веселеет. Все эти фразочки — сплошная игра, думала она, ведь наговори она сама такого хоть вполовину, она бы давно уж пустила себе пулю в лоб.

И зачем эти фразочки, — подумала она и как ни в чем не бывало заметила, что вечер совершенно чудесный. И чего он разохался, — спросила она, смеясь и досадуя одновременно, ведь она догадалась, о чем он думал, — он написал бы книги получше, не будь он женат.

Он не жалуется, — сказал он. Она сама знает, что он не жалуется. Она же знает — жаловаться ему не на что. И он схватил ее руку, поднес к губам, поцеловал с таким жаром, что у нее на глаза навернулись слезы, и тотчас он ее отпустил.

Они отвернулись от вида и пошли рука об руку вверх, по тропке, обросшей серебристыми копьями трав. Рука у него почти как у юноши, думала миссис Рэмзи, тонкая, твердая, и она с восхищением думала, какой он у нее еще сильный, хоть

ему и за шестьдесят, оптимистический, неукротимый, и как это странно, что, убежденный во всяческих ужасах, он не поддается им, они его только бодрят. Удивительно, правда? — размышляла она. Ей-богу, ей кажется иногда, что он — не как люди, слепоглухонемой от рожденья, что касается обычных вещей, зато на необычные вещи взгляд у него орлиный. Ее иногда поражает его проницательность. Но он цветы замечает? Нет. Вид замечает? Нет. Замечает он красоту собственной дочери, пудинг, бифштекс ли положен ему на тарелку? Он со всеми сидит за столом, как во сне. А эта его манера говорить с самим собой вслух или ни с того ни с сего громко разражаться стихами — ведь с годами все хуже; иногда ужасно неловко…

— Ты, кто лучше всех, уйдем![10]

Бедняжка мисс Гиддингс, когда он так на нее гаркнул, чуть со стула не свалилась от страха. Но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, сразу беря его под защиту против всех этих дур вроде Гиддингс, в конце-то концов, думала она, легким пожатием руки давая ему понять, что в гору она

---

[10] Примечания: 10
Перси Биши Шелли, «Приглашение»

за ним не поспевает и ей надо на минуточку остановиться — поглядеть, нет ли свежих кучек земли по откосу, в конце-то концов, думала она, наклонясь, чтоб получше их разглядеть, великий ум и всегда-то отличен от нашего. Все великие люди, каких она знала, думала она, придя к заключению, что кролик пробрался в сад, — все они таковы, и молодым людям полезно (хоть душная атмосфера аудиторий на нее лично наводит просто непереносимую скуку) хотя бы его послушать, хотя бы на него поглядеть. Но если их не стрелять, как от них отделаешься — от кроликов, — размышляла она. Наверное, это кролик; наверное, это крот. Во всяком случае, какая-то животинка подкапывается под ее примулы. И, подняв глаза, она увидела над тонкими ветками первый прищур ярко задрожавшей звезды и хотела обратить на нее внимание мужа; самой ей звезда доставила такую острую радость. Но она передумала. Он никогда ни на что не смотрит. А если посмотрит, только и скажет: «Богом забытый мир!» с этим своим воздыханием.

И тут он сказал: «Очень-очень красиво», — чтоб доставить ей удовольствие, и прикинулся, будто цветами любуется. Но она-то знала, что ничего он не любуется, ему все равно, хоть тут есть цветы,

хоть их нет. Просто, чтоб доставить ей удовольствие… А-а, да не Бриско ли это там вышагивает с Уильямом Бэнксом? Она сосредоточила близорукий взгляд на спинах удаляющейся парочки. Они, так и есть. И не значит ли это, что им следует пожениться? Именно! Дивная мысль! Им же следует пожениться!

13

Он бывал в Амстердаме, — говорил мистер Бэнкс, шагая через лужайку с Лили Бриско. Видел Рембрандта. Был в Мадриде. К сожалению, это пришлось на страстную пятницу, Прадо был закрыт. Был и в Риме. Мисс Бриско никогда не бывала в Риме? О, непременно следует побывать. Это будет для нее выдающееся переживание — Сикстинская Капелла; Микеланджело; и Падуя — полотна Джотто. Его жена долгие годы хворала, это ограничивало возможность путешествий.

Она была в Брюсселе; и в Париже была, правда, мимолетно, навещала заболевшую тетку. Была в Дрездене; есть бездна картин, которых она не видела; впрочем, рассуждала Лили Бриско, может, лучше не смотреть на картины; из-за них только еще безнадежней презираешь собственную работу. Мистер Бэнкс полагал, что такая точка зрения может чересчур далеко завести. Не всем быть Тицианами, не всем быть Дарвинами; с другой стороны, неизвестно еще, были б у вас Тицианы, были б у вас Дарвины, если б не было нас, обычных людей. Лили захотелось ему возразить комплиментом; вы-то не такой

уж обычный, мистер Бэнкс, — вертелось у нее на языке. Но он не нуждается в комплиментах (большинство мужчин нуждается), — подумала она, чуточку устыдилась своего поползновения и молчала, покуда он рассуждал, что к живописи только что сказанное, может быть, и не относится. Все равно, сказала Лили, отметая легкую поблажку неискренности, она никогда не бросит живопись, потому что ей интересно. Да, сказал мистер Бэнкс, он в этом уверен, и, дойдя до края лужка, он уже интересовался, трудно ли ей находить сюжеты в Лондоне, когда они повернули и увидели миссис и мистера Рэмзи. Вот он — брак, думала Лили, мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч. Вот что мне тогда ночью старалась втолковать миссис Рэмзи, думала она. Она куталась в зеленую шаль, и они стояли рядышком и смотрели, как Джеспер и Пру перекидываются мячом. И как ни с того ни с сего выходя из подземки, звоня у чужих дверей, люди вдруг облекаются странной значительностью и становятся воплощением, символом — так стоящие в сумерках два человека стали вдруг символом брака; муж и жена. Потом, тотчас символические, очарованные очертания с них спали, и когда Лили Бриско и Уильям Бэнкс к ним

подошли, они уже были опять мистер и миссис Рэмзи, смотрящие на детей, играющих в мяч. И все же, и все же на миг еще, хотя миссис Рэмзи их осияла своей обычной улыбкой (ах, она ведь решила, что мы поженимся, — подумала Лили) и сказала «Сегодня я одержала победу», — разумея, что ей наконец удалось залучить мистера Бэнкса на ужин и он на сей раз не сбежит от нее к своему слуге, который готовит подобающим образом овощи; и все же еще на миг удержалось ощущенье разлета, шири и безответственности, когда мяч взмыл и за ним потянулись взглядами, и его потеряли, и увидели одиночку-звезду в обрамленье ветвей. В убывающем свете все казались угловатыми, бестелесными и разбросанными по пространству. Но вот, метнувшись назад и провалившись куда-то (все плавало в сумерках, лишенное веса), Пру вылетела прямо на них, блистательно-высоко поймала левой рукой мяч, и мать у нее спросила: «Они еще не вернулись?», и чары развеялись. Мистер Рэмзи счел себя вправе громко расхохотаться над Юмом, который увяз в болоте, и одна старушка его согласилась вызволить на условии, что тот прочтет «Отче наш», и, все еще фыркая, он направился к себе в кабинет. Миссис Рэмзи, возвращая Пру в лигу

семейственности, — из которой та вырвалась, прыгая за мячом, — спросила:

— А Нэнси с ними пошла?

14

(Конечно, Нэнси с ними пошла, потому что Минта Доил ее умоляла немым взглядом и протянула к ней руку, когда Нэнси после обеда собралась улизнуть к себе наверх от кошмара семейственности. И пришлось ей идти. Ей не хотелось идти. Не хотелось во все это впутываться. Ведь пока они шли по дороге до самых скал, Минта хватала ее за руку. Потом отпускала. Потом снова хватала. И чего, вообще-то, ей нужно? — спрашивала себя Нэнси. Чего людям нужно? И когда Минта хватала ее за руку и не отпускала, Нэнси волей-неволей видела стлавшийся ей под ноги целый мир, словно Константинополь в тумане, и как бы у тебя ни слипались глаза, приходится спрашивать: «А это Айя София?» «А это Золотой Рог?» Так вот и Нэнси спрашивала, когда Минта хватала ее за руку: «Ей этого нужно? Не этого ли?» Но что такое — это? Там и сям из тумана проклевывались (когда Нэнси смотрела на стлавшуюся ей под ноги жизнь) купол; шпиль; выдающиеся, без названий. Но когда Минта отпускала ее руку, когда они сбегали по склонам, все — купола, и шпили, и что там еще пробивало

туман, вновь канув в него, исчезало.

Минта, считал Эндрю, ходить в общем умела. Одевалась разумнее прочих женщин: короткие юбочки, черные бриджи. Прыгнет прямо в поток и барахтается. Приятная смелость, но в общем, не дело — так можно и расшибиться нелепейшим образом. Она, кажется, ничего не боялась, кроме быков. Едва увидит быка, с визгом кидается прочь, раскинув руки, а быков ведь именно это и бесит. Но она ничуть не стеснялась в этом признаться, тут надо отдать ей должное. Она дикая трусиха по части быков, она говорила. Наверное, так она думала, ее вывалили из колясочки, когда она была маленькая. В целом она была не из тех, кто задумывается над тем, что говорить и что делать. Вот и сейчас застряла у края скалы и что-то запела такое:

А пошли вы все к чертям, все к чертям!

И всем пришлось подхватить припев и хором надсаживаться:

А пошли вы все к чертям, все к чертям!

Однако было б безумно жаль пропустить момент, пока прилив еще не затопил все охотничьи зоны.

Безумно жаль, — согласился Пол и вскочил, и

пока они скользили вниз, он цитировал путеводитель на тот предмет, что «острова эти славятся по праву своими видами, напоминающими парки, и большим числом и разнообразием морских достопримечательностей». Но нет, совершенно не дело — эти выкрики и посыланье к чертям, чувствовал Эндрю, пробираясь вниз по скале, и это похлопывание тебя по плечу, обращение «старина» и прочее в том же роде; совершенно, совершенно не дело. Вот потому-то он и зарекался брать в экспедиции женщин. Внизу они сразу же разделились, он отправился на Поповский Нос, разувшись, скатав носки, и оставил эту парочку на собственное попечение. Нэнси пробралась к своим излюбленным скалам обыскивать свои знакомые заводи и оставила эту парочку на собственное попечение. Она сидела на корточках и трогала резиново-гладких морских анемонов, ломтями желе облепивших выступ скалы. Замечтавшись, она преображала заводь в бескрайное море, пескарей превращала в акул и китов и, держа ладонь против солнца, окутывала тучами весь свой крошечный мир, как сам Господь Бог, погружая во тьму и отчаяние миллионы ни в чем не повинных, ничего не ведающих существ, а потом, отняв руку, вновь выпускала на них веселое

солнце. По белому, исписанному волнами песку, в кольчуге и наручнях, державной поступью удалялся какой-то немыслимый левиафан (границы заводи все расширялись) и таял в горном ущелье. А потом она незаметно скользнула над заводью взглядом, и взгляд замер на мреющей грани между морем и небом, на деревьях, волею пароходных дымков расколыхавшихся над горизонтом, и от всего этого богатства, которое щедро катил на нее и тотчас яростно отбирал простор, от впечатлений величия и разной мелкой нечисти, преспокойно среди него процветавшей (заводь опять сокращалась), она вдруг как приклеилась к месту, и у нее захолонуло сердце, а ее собственное тело, собственная жизнь и жизни всех-всех на свете превратились навеки — в ничто. Так, сидя на корточках над заводью, слушая волны, она замечталась.

И тут Эндрю закричал, что прилив, и она зашлепала по приплеску, побежала по песку и от разгона и радости бега залетела за большую скалу, и там — Господи! — сидели в обнимку Минта и Пол! Наверное, целовались. Она возмутилась, она пришла в ужас. Они с Эндрю натягивали носки, обувались в мертвом молчании, не проронив ни слова. Потом нагрубили друг другу. Могла и

позвать его, когда лангуста увидела, или кого там, ворчал Эндрю. Тем не менее оба чувствовали — мы не виноваты. Никто же не хотел, чтобы произошло это безобразие. И все равно Эндрю раздражало, что Нэнси принадлежит к числу женщин, а Нэнси злило, что Эндрю — из числа мужчин, и они очень тщательно и очень крепко завязывали шнурки.

Только уже когда опять забрались на самый верх, Минта заголосила, что потеряла бабушкину брошку, — бабушкину брошку, ее единственное украшение — плакучая ива (они помнят, конечно!), такая вся из жемчужинок. Они, конечно, ее видели, причитала она, и слезы текли по щекам — бабушкину брошку, бабушка ею чепчик закалывала до последнего дня своей жизни. А она ее потеряла. Лучше б она что угодно еще потеряла! Она захотела вернуться и поискать. Все вернулись. Шарили, смотрели. Ползали по самой земле, рявкали друг на друга. Пол Рэйли, как сумасшедший, обыскивал то место, где они с Минтой сидели. Вся эта возня вокруг брошки — совершенно не дело, думал Эндрю, когда Пол ему предложил «произвести тщательнейшие розыски между тем пунктом и этим». Прилив наступал. Через минуту море грозило накрыть то

место, где они сидели. Всякая возможность найти эту брошку решительно сводилась к нулю. «Нас отрежет!» — взвизгнула Минта, вдруг спохватившись, в ужасе. Будто была хоть малейшая доля опасности! Поздравляю — те же быки; она не умеет совладать со своими эмоциями, — думал Эндрю. Женщины вообще не умеют. Пусть этот несчастный Пол утихомиривает ее. Мужчины (Эндрю и Пол разом сделались мужественными, не всегдашними) держали краткий совет и решено было воткнуть трость Пола на том месте, где они сидели, и вернуться, когда будет отлив. Сейчас пока ничего не поделаешь. Если брошка тут, она и будет тут до утра, уверяли они Минту, но та хлюпала все время, пока они поднимались. Это бабушкина брошка; лучше б она что угодно еще потеряла! И все же Нэнси чувствовала, что, хоть брошку ей, правда, наверное, жаль, плачет она не только из-за нее. Она плачет из-за чего-то еще. Впору всем сесть и расплакаться, — думала Нэнси, только неизвестно из-за чего.

Они обогнали их, Минта и Пол, и он ее утешал, рассказывал, как гениально он умеет отыскивать разные вещи. Один раз, когда маленький был, он нашел золотые часы. Он встанет ни свет ни заря, и он определенно найдет эту брошку. Ему казалось,

что будет совсем темно, и он будет один на берегу, и почему-то все будет довольно опасно. Тем не менее он начал ей говорить, что непременно найдет брошку, а она сказала, что и слышать не хочет о том, чтоб он вставал ни свет ни заря; брошку не найти; она знает; у нее предчувствие было, когда сегодня она ее закалывала. И он решил про себя, что ничего ей не скажет, потихоньку ускользнет раным-рано, когда все еще спят, и если не найдет брошку, он поедет в Эдинбург и купит новую, точно такую же, только еще лучше. Он докажет, на что он способен. И когда они вошли наверх и перед ними всплыли огни городка, огни, вдруг высыпавшие один за другим, показались ему тем, что сбудется с ним, — женитьба; дети; свой дом; а когда вышли на большак, залегший между большими кустами, он думал о том, как они укроются с нею в укромность, и будут идти и идти, он всегда ее будет вести, а она к нему льнуть (вот как сейчас). Когда сворачивали у перекрестка, он думал о том, какого он ужаса натерпелся сегодня, и надо кому-то сказать, миссис Рэмзи, понятно, потому что у него дух перехватывало при мысли о том, что сегодня он сделал, что было. Самый-самый жуткий момент в его жизни — когда он сделал предложение Минте. Он хотел сразу пойти

к миссис Рэмзи, потому что он как-то угадывал, что это она его подбила на все. Она вернула ему веру в себя. Больше никто его не принимает всерьез. А благодаря ей он поверил — все ему может удасться. Сегодня он целый день чувствовал на себе ее взгляд, который (хоть она ни слова ему не сказала) будто ему говорил: «Ты на это способен. Я верю в тебя. Я жду». Да, все-все благодаря ей, и как только они вернутся (он отыскивал огонек ее дома над бухтой), он сразу пойдет к ней и скажет: «Я это сделал, миссис Рэмзи; я это сделал, спасибо вам». И вот, свернув на ведущую к дому тропу, он увидел огни, перемещающиеся за верхними стеклами. Кажется, они опоздали кошмарно. Все собирались ужинать. Дом был весь озарен, и свет с темноты ему ударил в глаза, и он повторял, как дитя, когда шел по въездной аллее, — огни, огни, огни, — и повторял ошарашенно — огни, огни, огни, переступая порог и озираясь с совершенно одеревенелым лицом. Но Господи Боже, сказал он себе, ощупывая узел на галстуке, что это я, нельзя же себя выставлять идиотом.)

15

— Да, — сказала Пру, в своей задумчивой манере отвечая на вопрос матери, — мне кажется, Нэнси с ними пошла.

16

— Ну вот, Нэнси с ними пошла, — решила миссис Рэмзи и спрашивала себя, пока откладывала щетку, бралась за гребешок, отвечала «Войдите» на стук в дверь (вошли Роза и Джеспер), — делал ли факт участия Нэнси более вероятным или менее вероятным, что что-то стряслось; пожалуй, менее вероятным, полагала миссис Рэмзи, довольно бездоказательно, впрочем, разве что едва ли возможна такая общая вдруг погибель. Не могли же они, в самом деле, утонуть всем скопом. И опять она почувствовала себя беззащитной перед лицом старого неприятеля — жизни.

Джеспер и Роза сообщили, что Милдред желает знать, не обождать ли с ужином.

— Ни ради английской королевы, — вскинулась миссис Рэмзи.

— Ни ради мексиканской императрицы, — прибавила она, смеясь и глядя на Джеспера; он унаследовал материнский порок — тоже преувеличивал.

А Роза, если угодно, сказала она, когда Джеспер отправился исполнять поручение, может выбрать, какие бы ей сегодня надеть украшения.

Когда пятнадцать человек собираются сесть за ужин, нельзя бесконечно ждать. Она начинала уже сердиться, что они так запаздывают; просто бесцеремонно с их стороны, и мало того что она за них волновалась, она еще и сердилась, что сегодня именно вздумали опоздать, когда ей так хотелось, чтоб ужин особенно удался, раз Уильям Бэнкс наконец согласился с ними отужинать; и сегодня у них шедевр Милдред — Boeuf en Daube. Тут все зависит от того, чтоб подать в самый миг, как готово. Мясо, лавровый лист, вино — все должно потомиться в меру. Малейшее промедленье губительно. И вот сегодня, видите ли, именно сегодня им понадобилось где-то носиться и опоздать, и все придется вынуть, держать горячим; Boeuf en Daube будет совершеннейшее не то.

Джеспер предлагал ей нитку опалов; Роза — золотое колье. Что пойдет больше к черному платью? В самом деле — что? — рассеянно спрашивала себя миссис Рэмзи, оглядывая плечи и шею в зеркале (но минуя лицо). А потом, пока дети рылись в украшениях, она загляделась в окно, на то, что ее всегда веселило: грачи решали, на каком бы им дереве обосноваться. То и дело они меняли решение и снова взлетали, потому что, она думала, старый грач, грач-отец, старик Иосиф

она его прозвала, был птичка с привередливым и капризным характером. Весьма полупочтенный старикан, половина перьев повыдергана. Он как старый обшарпанный господин в цилиндре, которого она видела раз, возле пивной; играл на рожке.

— Посмотри! — засмеялась она. Они не на шутку подрались. Иосиф и Мария подрались. Во всяком случае, все они снова взвились, и воздух был сбит на сторону черным сплошным сполохом и весь иссечен такими дивными ятаганчиками. И взбит, взбит, взбит — никогда она не умела описать это точно, так, чтоб самой понравилось. Посмотри! — она сказала Розе, надеясь, что Роза-то отчетливей разглядит. Дети подстегивают иногда твое восприятие.

Но что же выбрать? Они повыдвигали в шкатулке все ящички. Золотое колье — оно итальянское, или опалы, которые привез из Индии дядя Джеймс? Или лучше ей аметисты надеть?

— Выбирайте, миленькие, выбирайте, — говорила она, надеясь, что они поторопятся.

Но пусть уж выберут сами; пусть особенно Роза возьмет то одно, то другое, приложит к черному платью, потому что маленькая церемония выбора украшений, исполняемая каждый вечер, она

чувствовала, ужасно нравилась Розе. Почему-то такое она придавала важность этому выбору украшений для матери. Почему? — гадала миссис Рэмзи, стоя тихо, пока Роза застегивала избранное колье, и откапывая в собственном прошлом глубокое, тайное, бессловесное чувство, какое испытываешь к матери в Розином возрасте. Как все обращенные на тебя чувства, думала миссис Рэмзи, вызывает и это тоску. До чего же мало даешь взамен; до чего же мало соответствует отношение Розы всему тому, что она в действительности собою являет. И Роза вырастет; и Роза, она думала, со своими глубокими чувствами, будет страдать, и она сказала, что готова, надо идти, и Джеспер, раз он джентльмен, пусть благоволит предложить ей руку, а Роза, дама, пусть несет носовой платок (она дала ей платок) и — что еще? Ах да, вдруг будет холодно: шаль. «Выбери для меня шаль», — сказала она, чтобы доставить удовольствие обреченной страданиям Розе. «Ну вот, — сказала она, останавливаясь у окна на площадке, — они тут как тут». Иосиф устроился на другой кроне. «Думаешь, им приятно, — сказала она Джесперу, — когда у них поломаны крылья?» За что он хочет застрелить бедных Иосифа и Марию? Он мешкал на ступеньках, понимал,

что ему выговаривают, но не серьезно; и она не знала, какое удовольствие — стрелять птиц; и они ничего не чувствуют; и она была — мама, и жила далеко-далеко, в другой части света, но ему нравились ее истории про Марию с Иосифом. Было смешно. Но откуда она знает, что это Мария с Иосифом? Она думает, те же птицы прилетают каждый вечер на те же деревья? — спрашивал он. Но тут, ни с того ни с сего, это со взрослыми вечно, она потеряла к нему всякий интерес. Она прислушивалась к звукам в прихожей.

— Явились! — вскрикнула она и сразу же не облегчение почувствовала, а досаду на них. Потом подумала — свершилось или нет? Сейчас она спустится, и они скажут… Да нет же. Не станут они при всех говорить. Придется спуститься, сесть за ужин и ждать. И, как королева, видя подданных в сборе, снисходит к ним и в молчании принимает их дань, принимает коленопреклоненную преданность (Пол и бровью не повел и смотрел прямо перед собой, когда она проходила) — она сошла вниз и пошла по прихожей, чуть склоня голову, словно принимая то, чего не могли они выразить; дань ее красоте.

Но она остановилась. Пахнуло горелым. Неужто сгубили Boeuf en Daube, — подумала она. Господи,

только не это! — но тут прокатился гул гонга, непреложно, властительно вменяя всем, всем, всем, кто разбросан по мансардам, по спальням, по гнездышкам, кто дописывает, дочитывает, наводит последний лоск на прическу, застегивает последнюю пуговицу, — все это бросить, бросить разные разности на умывальниках, и на трюмо, и на ночных столиках книжки, и таинственные свои дневники, и явиться в столовую к ужину.

17

Но что сделала я со своей жизнью, думала миссис Рэмзи, садясь во главе стола и оглядывая белые круги тарелок на скатерти. «Уильям, сядьте со мною рядом», — сказала она. «Лили, — сказала она устало, — сюда». Им свое — Полу Рэйли и Минте Доил — ей свое: бесконечно длинный стол, и ножи, и тарелки. На дальнем конце сидел ее муж, ссутулясь, сгорбясь, и дулся. Из-за чего? Неизвестно. Не важно. Она не постигала, как вообще когда-то могла к нему испытывать привязанность, нежность. Начав разливать суп, она себя ощутила вне всего, ото всего отделенной, отъединенной, как вот когда вихрь несется и кто-то подхвачен им, а кто-то остается вовне — так и она осталась вовне. Все кончено, думала она, пока они входили один за другим, Чарльз Тэнсли («сюда, пожалуйста», — сказала она), Август Кармайкл, и рассаживались. И в то же время она безучастно ждала, что кто-то ответит ей, что-то случится. Но такое не выскажешь, она думала, разливая суп.

Вздернув брови над этим несоответствием — одно думаешь, а делаешь совершенно другое:

разливаешь суп, — она все сильней себя ощущала вне вихря; или — как если б упала тень и вещи, лишась подцветки, ей представились в истинном виде. Комната (она обвела ее взглядом) обшарпана донельзя. Ни в чем никакой красоты. И лучше уж не смотреть на мистера Тэнсли. Никакого слияния. Все сидели разрозненно. И от нее, от нее одной зависело всех их взбить, расплавить и сплавить. Без враждебности, как об очевидном, она снова подумала о несостоятельности мужчин — все она, сами ничего, ничего не умеют, — и она встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и затикал знакомый, испытанный пульс: раз, два, три, раз, два, три. И так далее, так далее она отсчитывала еще слабенький пульс, оберегала и охраняла, как спасают зазевавшееся пламя газетой. И тотчас она заключила, с молчаливым кивком обращаясь к Уильяму Бэнксу, — бедняга! Ни жены, ни детей, каждый вечер, кроме сегодняшнего, один ужинает по съемным квартирам; вот — пожалела его и вновь набралась сил выносить свою жизнь; и уже она принималась за дело; так моряк оглядывает не без тоски туго вздувшийся парус, ему и не хочется в море, и он рисует в уме, как пойдет ко дну, и его закрутит, закрутит пучина, и на дне он найдет покой.

— Вы нашли свои письма? Я сказала, чтоб их положили для вас в прихожей, — сказала она Уильяму Бэнксу.

Лили Бриско смотрела, как ее относило на странную ничейную землю, куда не последуешь за человеком, но уход его тебя пронизывает холодком, и ты до конца его провожаешь глазами, как провожаешь глазами тающий парус, покуда он не канет за горизонтом.

Как старо она выглядит, как устало, думала Лили, и как она далеко. Потом, когда она повернулась к Уильяму Бэнксу и улыбнулась, было так, будто корабль повернулся, и солнце снова ударило в паруса, и Лили с облегчением, а потому уже не без ехидства, подумала: и зачем его жалеть? Ведь это было ясно, когда она ему говорила про письма в прихожей. Бедный Уильям Бэнкс, казалось, говорила она, с таким видом, будто устала, в частности и оттого, что жалеет людей, но жалость именно и придает ей решимость жить дальше. А это ведь дичь, думала Лили; одна из тех ее выдумок, которые у нее безотчетны и никому кроме нее самой не нужны. Он решительно не предмет для жалости. У него — работа, — сказала себе Лили. И вспомнила вдруг (как клад открывают), что у нее тоже — работа. Перед глазами встала

ее картина. Она подумала: да, надо дерево еще продвинуть на середину; так преодолеется глупо зияющее пространство. Вот что надо сделать. Вот что меня мучило. Она взяла солонку и переставила на цветок скатертного узора, чтоб не забыть потом переставить дерево.

— Занятно, что, так редко получая по почте что-нибудь стоящее, мы вечно в ожидании писем, — сказал Уильям Бэнкс.

Что за дикую белиберду они порят, думал Чарльз Тэнсли, кладя ложку в точности посередине тарелки, которую так вылизал, думала Лили (он сидел напротив, спиной к окну, в точности надвое рассекая вид), будто вознамерился и в пище дойти до сути. Весь он был так выморочно тверд, так безнадежно непривлекателен. И однако факт остается фактом, почти немыслимо плохо относиться к человеку, пока на него смотришь. Ей нравились его глаза; синие, глубоко посаженные, страшноватые.

— Вы часто пишете письма, мистер Тэнсли? — спросила миссис Рэмзи, и его тоже жалеючи, решила Лили; ведь что правда, то правда — миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано, и нет чтоб пожалеть женщину, которой дано что-то. Он пишет матери; за этим

исключением, хорошо, если письмо в месяц, — отвечал мистер Тэнсли кратко.

Он не намеревался пороть ту чушь, к которой его тут призывали. Не желал идти на поводу у глупых женщин. Он читал у себя в комнате и вот спустился, и все тут оказалось поверхностно, глупо, ничтожно. К чему наряжаться? Он спустился в обычной своей одежде. У него и нет выходной. «По почте редко получаешь что-нибудь стоящее», — так у них принято изъясняться. Так вынуждают изъясняться мужчин. А ведь и правда, в сущности, — он подумал. Они из года в год не получают ничего стоящего. Ничего не делают, говорят, говорят, говорят, едят, едят, едят. Все женщины виноваты. Сводят культуру на нет этим своим «очарованием» — своими глупостями.

— Завтра ехать на маяк не придется, миссис Рэмзи, — сказал он, чтобы за себя постоять. Она ему нравилась; он ею восхищался; он помнил, как тот, в канаве, смотрел ей вслед; но он должен был за себя постоять.

Да уж, — думала Лили Бриско, глаза — глазами (а на нос посмотреть, на руки!), он чуть ли не противнейший из людей, каких ей приходилось встречать. И не все ли равно, что он мелет? Жен-

щины не владеют кистью, женщины не владеют пером — кажется, какое ей дело, пусть его говорит, ведь ясно же — он и не думает этого, просто ему отчего-то нравится так говорить? Почему же всю ее гнет, как колос на ветру, и мучительнейшего усилия стоит потом распрямиться после таких унижений? А снова надо сделать это усилие. Вот цветок в ткани скатерти; ах да, моя картина; надо продвинуть дерево ближе к центру; вот что важно и — ничего больше. И неужто нельзя на том успокоиться, не лезть в бутылку, не спорить; а если так уж хочется мести — не проще ли его высмеять?

— Ах, мистер Тэнсли, — сказала она, — возьмите меня с собой на маяк. Ну пожалуйста!

Он видел, что она говорит неискренне. Говорит, чего вовсе не думает, чтоб его зачем-то поддеть. Он в старых лоснящихся брюках. За неименьем иных. Он себя чувствует здесь обшарпанным, чужим, одиноким. Ей зачем-то понадобилось его дразнить: она и не собирается на маяк; она его презирает; кстати, Пру Рэмзи — тоже; все они презирают его. Но он не позволит женщинам его выставлять идиотом. И он нарочно повернулся на стуле, глянул в окно и грубо, резко брякнул, что море для нее завтра будет неподходящее. Ее

стошнит.

Он досадовал, что она его вынудила говорить таким тоном при миссис Рэмзи. Очутиться бы у себя, за работой, думал он, среди своих книг. Вот где ему хорошо. И он в жизни не задолжал ни гроша; ни гроша не стоил отцу с пятнадцати лет; помогал семье из своих сбережений; обеспечил ученье сестре. Но лучше б ему найти для Лили Бриско ответ поприличней; лучше б не брякать «Вас стошнит». Что-нибудь бы сказать миссис Рэмзи, доказать, что не такой уж он бессердечный сухарь. Каковым его все тут считают. Он повернулся к ней. Но миссис Рэмзи говорила про людей, о которых он понятия не имел, говорила с Уильямом Бэнксом.

— Да, уберите, — прервавшись на полслове, коротко сказала она горничной. — Я ее лет пятнадцать… нет, двадцать лет не видела, — говорила она, уже оборотясь к мистеру Бэнксу, будто минуты не могла упустить, до того поглощал ее этот их разговор. Так он в самом деле получил от нее сегодня известие? И Кэрри до сих пор в Марло, и там все по-прежнему? Ах, ей, как вчера, помнится та прогулка по реке, они еще страшно продрогли. Но если уж Мэннинги что заберут в голову, они ведь от своего не отступятся. Ей никогда не

забыть, как Герберт на берегу прикончил осу чайной ложкой! И все это продолжается, думала миссис Рэмзи, призраком скользя между столами и стульями гостиной на берегах Темзы, где она так страшно, страшно продрогла двадцать лет назад; и вот — скользит между ними призраком; и восхитительно было, что, покуда сама она изменялась, отпечатанный памятью день, теперь уже тихий и дивный, оставался тут все эти годы. Кэрри сама ему написала? — спросила она.

— Да, пишет, что они строят новую бильярдную, — сказал он. Нет! Нет! Быть не может! Строят новую бильярдную! Это ей представлялось непостижимым.

Мистер Бэнкс не усматривал тут ничего особенно странного. Они теперь очень состоятельные люди. Передать Кэрри от нее поклон?

— О… — сказала миссис Рэмзи и вздрогнула. — Нет, — прибавила она, рассудив, что вовсе не знает Кэрри, которая строит новую бильярдную. Но как же странно, повторила она, позабавив мистера Бэнкса, что они живут там по-прежнему. Удивительно, как ухитрялись они жить и жить все эти годы, когда она о них почти и не вспоминала. В ее жизни за те же самые годы столько всякого произошло! Но, может быть, Кэрри Мэн-

нинг тоже о ней и не вспоминала. Мысль была странная и не понравилась ей.

— Жизнь разводит людей, — сказал мистер Бэнкс, не без удовлетворения, однако, подумав, что он-то знается и с Мэннингами, и с Рэмзи. Жизнь его с ними не развела, думал он, кладя ложку и тщательно обтирая салфеткой чисто выбритый рот. Но, может быть, он не такой, как все, думал он; он не погрязает в рутине. У него друзья во всевозможных кругах... И тут миссис Рэмзи необходимо было прервать разговор, распорядиться, чтоб держали горячим то-то и то-то. Почему он и предпочитал ужинать в одиночестве. Ему претили эти помехи. Что ж, — думал Уильям Бэнкс, соблюдая прилежно безукоризненную учтивость и только расправляя на скатерти пальцы левой руки, как механик проверяет великолепно надраенный, готовый к употреблению инструмент в минуту простоя, — дружба требует жертв. Она бы обиделась, если б он отказался прийти. Но ему-то все это зачем? Оглядывая свою руку, он думал, что останься он дома, он бы уже почти разделался с ужином; мог спокойно засесть за работу. Да, думал он, чудовищная трата времени. Дети еще входили. «Надо кому-то сбегать наверх за Роджером», — говорила миссис Рэмзи.

Как это глупо, как скучно, думал он, в сравненье с другим — с работой. Он сидел, барабанил по скатерти пальцами, а мог бы — он окинул мгновенным взглядом свою работу. Да, чудовищная трата времени! Но ведь она, думал он, чуть не самый давний мой друг. Я был к ней, можно сказать, даже неравнодушен. Но сейчас, в данный момент ее присутствие его вовсе не грело; ее красота не грела; и то, как сидела она с мальчиком у окна, — не грело, не грело. Он мечтал остаться один, снова взяться за свою книгу. Ему было неловко; он себя чувствовал предателем оттого, что сидит рядом с нею, а ему все равно. Суть, видимо, в том, что его не прельщает семейный очаг. В таком вот состоянии себя спрашиваешь — зачем жить? Стоит ли, себя спрашиваешь, продолжение рода человеческого всех этих усилий? Уж так ли оно заманчиво? Так ли уж привлекательны мы как вид? Не так уж, думал он, оглядывая весьма неопрятных мальчишек. Его любимицу Кэм, вероятно, уложили в кроватку. Глупые вопросы, пустые вопросы, вопросы, которые не станешь себе задавать, если занят работой. Что такое человеческая жизнь? То да се. Просто времени нет задумываться. И вот он задумался над такими вопросами потому, что миссис Рэмзи отдавала

распоряжения прислуге, а еще потому, что, когда миссис Рэмзи поразилась открытием, что Кэрри Мэннинг до сих пор существует, вдруг он понял, как хрупки дружеские отношения, даже самые милые отношения. Жизнь разводит. Снова он почувствовал угрызения совести. Он сидел рядом с миссис Рэмзи, и ему решительно нечего было ей сказать.

— Простите, пожалуйста, — сказала миссис Рэмзи, наконец-то к нему оборачиваясь. Он себе показался пустым и жестким, как ботинок, намокший и высохший — никак не втиснешь ногу. А ногу втиснуть придется. Придется из себя что-то выдавить. Если не принять скрупулезнейших мер, она уловит предательство; что ему на нее с высокой горы наплевать; не очень ей это будет приятно, подумал он. И он учтиво склонил к ней голову.

— Вам скучно, должно быть, ужинать в нашей берлоге, — сказала она, как всегда, когда бывала несобрана, пуская в ход свою светскость. Так, если сходится разноязычная публика, председатель вменяет всем говорить по-французски. Пусть французский будет дурной; спотыкающийся, не передающий нюансов; но с помощью французского достигается известный порядок, известное

единение. Отвечая ей на том же языке, мистер Бэнкс сказал:

— Да нет, ну что вы, — и мистер Тэнсли, не разбиравший этого языка, даже преподносимого в таких односложных словечках, тотчас заподозрил неискренность. Болтают белиберду, думал он, эти Рэмзи; и он с наслаждением вцепился в свежий пример для своих заметок, какими в свое время намеревался попотчевать кое-кого из приятелей. Там, в обществе, где принято изъясняться без штук, он язвительно изобразит, каково это — «гостить у Рэмзи» и какую они болтают белиберду. Один раз еще можно, он скажет, но уж вторично — увольте. Такая тоска — эти дамы, он скажет. Рэмзи здорово влип, женясь на красавице и наплодив восьмерых детей. Что-то подобное в свое время должно было вырисоваться; но покамест, в данный момент, когда он торчал тут подле пустого стула, ничего решительно не вырисовывалось. И хоть бы кто-то помог ему о себе заявить. Ему это было необходимо, он ерзал на стуле, смотрел на одного, на другого, хотел вклиниться в разговор, открывал, закрывал рот. Говорили о рыбном промысле. Почему бы не справиться у него? Ну что понимают они в рыбном промысле?

Лили Бриско все это чувствовала. Она сидела

напротив, и разве она не видела желание молодого человека произвести впечатление; видела, как на рентгеновском снимке (вот ключицы, вот ребра) — темно прочерченное сквозь волнистые туманы плоти; увязающее в туманах условностей острое желание молодого человека вклиниться в разговор. Но нет, она думала, щуря китайские глазки и помня, как он издевался над женщинами — «не владеют пером, не владеют кистью», — с какой стати я буду его выручать?

Существует кодекс поведения, она знала, согласно седьмому (так, кажется?) пункту которого в ситуации подобного рода женщине полагается, чем ни была бы она сама занята, кинуться к молодому человеку на выручку, помочь ему вытащить из волнистых туманов условностей свое желание покрасоваться; свое острое (как ключицы, как ребра) желание вклиниться в разговор; в точности так, как их долг, рассуждала она со стародевичьей честностью, помочь нам, если, скажем, разразится в подземке пожар. В таком случае, она думала, я определенно ждала бы от мистера Тэнсли, что он поможет мне выбраться. Но интересно, а что, если ни один из нас ничего такого не сделает? И она молчала и улыбалась.

— Вы же не собираетесь на маяк, правда,

Лили? — сказала миссис Рэмзи. — Вспомните бедного мистера Лэнгли. Он сто раз объездил весь свет, а мне говорил, что в жизни никогда так не маялся, как когда мой муж потащил его с собой на маяк. Вы хорошо переносите качку, мистер Тэнсли?

Мистер Тэнсли занес топор, высоко им взмахнул; но когда топор опускался, сообразил, что нельзя сокрушать столь легкую бабочку подобным орудием, и сказал только, что в жизни его не тошнило. Но единственная эта фраза, точно порохом, была заряжена: тем, что дед его был рыбак, отец — аптекарь; он пробился исключительно своим горбом; чем и гордится; он — Чарльз Тэнсли; здесь никто, кажется, этого толком не понял; но еще узнают, узнают. Он смотрел прямо перед собою и хмурился. Ему даже жаль было мягкую, культурную публику, которую когда-нибудь, как тюки шерсти, как мешки с яблоками, взметнет на воздух тем порохом, что он носит в себе.

— Возьмете меня с собой, да, мистер Тэнсли? — сказала Лили быстро, любезно, ведь если миссис Рэмзи ей говорила, а она говорила: «Лили, миленькая, душа моя мрачна, и если вы не спасете меня от стрел яростной судьбы и сейчас же не скажете что-нибудь любезное этому молодому

человеку (тоска смотреть, как он мается, бедняк), я просто не выдержу, у меня разорвется грудь от муки», — ведь если миссис Рэмзи говорила ей все это своим взглядом, — разумеется, Лили пришлось в сотый раз отказаться от эксперимента: что произойдет, не прояви она чуткости к молодому человеку. И она проявила чуткость.

Правильно расценив поворот в ее настроении — теперь она говорила любезно, — он освободился от мук эгоизма и рассказал, как в детстве его бросали с лодки; как отец его выуживал багром; его учили плавать. Дядька был смотрителем маяка на одном островке где-то у берегов Шотландии. Как-то он у него оставался в бурю. Все это было громко вставлено в паузу. Всем пришлось его слушать, когда он пошел рассказывать, как оставался у дядьки на маяке в бурю. Ах, думала Лили Бриско, скользя по благоприятным поворотам беседы и видя признательность миссис Рэмзи (наконец миссис Рэмзи могла сама вставить словцо), ах, да чего бы я ни дала, чтобы вам угодить. И она была неискренна.

Она прибегла к банальной уловке; к любезности. Она никогда не узнает его. Он ее никогда не узнает. Все человеческие отношения таковы, и хуже всех (если б не мистер Бэнкс) — отношения

между мужчиной и женщиной. Эти-то уж неискренни до предела. Тут взгляд ее упал на солонку, переставленную Для памяти, она вспомнила, что утром переместит дерево к центру, и при мысли о том, как она завтра снова примется за работу, у нее отлегло от сердца, и она громко расхохоталась над очередной фразой мистера Тэнсли. Пусть его разглагольствует хоть целый вечер, если не надоест!

— А на какой срок оставляют людей на маяке? — спросила она. Он ответил. Он проявлял поразительную осведомленность. И раз он ей благодарен, раз она ему нравится, раз он отвлекся, развлекся, думала миссис Рэмзи, можно вернуться в дивный край, в нереальное, завороженное место, в гостиную Мэннингов в Марло двадцать лет назад; где бродишь без тревоги и спешки, потому что нет того будущего, о котором приходится печься. Ей известно, что им предстоит, что предстоит ей. Будто перечитываешь хорошую книгу и знаешь конец, все ведь случилось двадцать лет назад, и жизнь, даже с обеденного стола каскадом бившая неизвестно куда, теперь опечатана там и лежит в его берегах, как ясное море. Он сказал, они строят бильярдную — неужели? Не расскажет ли Уильям Бэнкс о Мэннингах еще

что-нибудь? Это так интересно. Но нет. Отчего-то такое он был уже не в настроении. Она пробовала его растормошить. Он не давался. Не силком же его заставлять. Ей было досадно.

— Дети ведут себя бессовестно, — сказала она, вздыхая. Он сказал что-то насчет пунктуальности; мол, она-де из тех мелких добродетелей, которые мы обретаем с годами.

— Если вообще обретаем, — сказала миссис Рэмзи, чтобы что-то сказать, а сама думала — какой же старой песочницей становится Уильям. Он чувствовал себя предателем, чувствовал, что ей хочется более задушевной беседы, но был к ней в данный момент неспособен, и нашла на него тоска, стало скучно — сидеть тут и ждать. Может быть, другие говорят что-нибудь стоящее? Что они там говорят?

Что в этом году плохой лов рыбы; рыбаки эмигрируют. Говорили о заработках, о безработице. Молодой человек изобличал правительство. Уильям Бэнкс, думая о том, какое облегчение — ухватиться за что-то в таком духе, когда личная жизнь наводит тоску, прилежно слушал про «один из возмутительнейших актов нынешнего правительства». Лили слушала; миссис Рэмзи слушала; слушали все. Но Лили уже заскучала и

чувствовала, что тут что-то не то; мистер Бэнкс чувствовал — что-то не то. Кутаясь в шаль, миссис Рэмзи чувствовала — не то, не то. Все заставляли себя слушать и думали: «Господи, только б никто не догадался о моих тайных мыслях»; каждый думал: «Они все слушают искренне. Они возмущены отношением правительства к рыбакам. А я притворяюсь». Но возможно, думал мистер Бэнкс, глядя на мистера Тэнсли, — такой человек нам и нужен. Вечно мы ждем настоящего деятеля. Всегда есть возможность его появления. В любую минуту может явиться — он; гений — в сфере политической; как во всякой другой. Пусть он покажется весьма и весьма неприятным нам — старым тюфякам, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь быть беспристрастным, ибо по странному, противному покалыванию в хребте он заключал, что завидует — отчасти ему самому, а возможно, его работе, его позиции, его науке; потому-то он не без предвзятости, не с полной справедливостью относится к мистеру Тэнсли, который будто бы говорит: «Все вы себя не нашли. Куда вам. Несчастным старым тюфякам. Вы безнадежно отстали от жизни». Он, положим, самоуверен, этот молодой человек; и — какие манеры. Но, заставил себя признать мистер Бэнкс,

он смел; со способностями; свободно оперирует фактами. Возможно, думал мистер Бэнкс, пока мистер Тэнсли изобличал правительство, он очень во многом прав.

— А вот скажите, пожалуйста… — начал он. И они углубились в политику, и Лили посмотрела на цветочек на скатерти; а миссис Рэмзи, предоставив двоим мужчинам дискутировать без помех, удивлялась, отчего ей так скучно, и, поглядывая через весь стол на мужа, мечтала, чтобы он вставил слово. Хоть единственное словцо. Ведь стоит заговорить ему, и все сразу меняется. Он во всем доходит до сути. Действительно волнуется о рыбаках, об их заработках. Ночей из-за них не спит. Когда говорит он, все иначе; никто не думает: только б не заметили моего равнодушия, потому что не остается уже равнодушных. Потом она поняла, что ей так хочется, чтобы он заговорил оттого, что она восхищается им, и — будто кто при ней похвалил ее мужа, похвалил их союз, она вспыхнула вся, забыв, что сама же его и похвалила. Она на него посмотрела: наверное, у него все написано на лице; он сейчас, наверное, чудный… Но — ничуть не бывало! Он сморщился весь, он надулся, насупился, красный от злости. Господи, да по какому же поводу? — удивля-

лась она. Что такое? Бедный Август Кармайкл попросил еще тарелку супа — только и всего. Мучительно, невыносимо (сигнализировал он ей через стол), что Август сейчас снова-здорово возьмется за суп. Он терпеть не может, когда кто-то ест, когда сам он кончил. Злость метнулась ему в глаза, исказила черты, вот-вот, она чувствовала, произойдет страшный взрыв… но, слава Богу! Он спохватился, дернул за тормоз и — будто весь изошел искрами, но ни слова не проронил. Вот — сидит и дуется. Он ни слова не проронил — пусть она оценит. Пусть отдаст ему должное! Но почему же, спрашивается, бедный Август не мог попросить еще супа? Он только тронул Эллен за локоть и сказал:

— Эллен, еще тарелочку супа, будьте добры, — и мистер Рэмзи надулся подобным образом.

А почему нельзя? — спрашивала миссис Рэмзи. Почему Августу не съесть вторую тарелку супа, раз ему хочется? Он ненавидит, когда кто-то волынит, смакуя пищу, хмурился ей в ответ мистер Рэмзи. Вообще ненавидит, когда что-то часами тянется. Но он же взял себя в руки, пусть она оценит, он совладал с собой, хоть его воротит от подобного зрелища. Но зачем все так явно показывать? — спрашивала миссис Рэмзи (они

смотрели друг на друга, посылая через длинный стол вопросы и ответы, безошибочно читая мысли друг друга). Все видят, думала миссис Рэмзи. Роза уставилась на отца; Роджер уставился на отца; она поняла: вот-вот оба зайдутся от смеха, и потому поскорее сказала (главное — и правда пора):

— Зажгите-ка свечи, — и они тут же вскочили и стали орудовать возле буфета.

Почему он никогда не может скрыть своих чувств? — думала миссис Рэмзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. Да, вероятно; или, может быть, нет. Она не могла не уважать спокойствия, с которым он хлебал суп. Захотел супа и попросил. Смеются над ним, злятся — он неизменен. Он недолюбливал ее, она знала, но даже за это она уважала его и, глядя, как он хлебал суп, большой, безмятежный в убывающем свете, монументальный, углубленный в себя, она гадала, о чем он думает и откуда у него это неизменное достоинство и довольство; и она думала, как привязан он к Эндрю, часто зовет к себе в комнату, Эндрю рассказывал, «показать кое-что». И целыми днями он лежит на лужке, рождая, должно быть, стихи; как кошка птичку, подстерегает упорхнувшее слово, а поймав, припечатает лапкой; и муж говорит:

«Бедный старый Август — он настоящий поэт», а это для мужа — много.

Восемь свечей стояли уже вдоль стола, и, сперва поклонившись, потом распрямясь, пламя выхватило из сумерек весь длинный стол и золотую, багряную гору фруктов посередине. И как она это устроила, думала миссис Рэмзи, потому что Розино сооружение из гроздьев и груш, из шершавых, с алым подбоем раковин, из бананов — увлекало мысль к трофеям морского дна, к пиратам Нептуна, к виноградной кисти, с листьями вместе легшей Бахусу на плечо (на разных картинах) посреди леопардовых шкур и рыжего, жаркого дрожания факелов… Так вытащенная на свет гора фруктов стала вдруг глубокой, пространной, стала миром, где, взявши трость, карабкаешься на горы, сходишь в лощины; и к ее радости (их это мгновенно объединило) Август тоже бродил взором по этой горе и, усладясь где цветочком, где кисточкой, возвращался к себе, возвращался в свой улей. Так он смотрел; ничуть на нее непохоже. Но они вместе смотрели, и это сближало.

Уже горели все свечи, и придвинули лица друг к другу, свели, чего не было в сумерках, в общество за столом, и ночь была изгнана оконными стеклами, которые уже не тщились передать

поточнее мир заоконья, но странно туманили его и рябили, и комната стала оплотом и сушей; а снаружи осталось отображенье, где все струисто качалось и таяло.

И все учуяли перемену, будто и впрямь они вместе пируют в лощине, на острове; и сплотились против наружной текучести. Миссис Рэмзи, которая изводилась из-за отсутствия Минты и Пола, просто места себе не находила, вдруг перестала изводиться — ждала. Сейчас они войдут. И Лили Бриско, пытаясь понять причину внезапного облегчения, сопоставляла его с той минуткой на теннисном корте, когда все плавало в сумерках, лишенное веса, и всех расшвыряло далеко по пространству; теперь тот же эффект достигался тем, что горело много свечей, и комната полупуста, не занавешены окна, и лица глядят при свечах, как яркие маски. Со всех сняли груз. Теперь — будь что будет, чувствовала Лили. Сейчас они войдут, решила миссис Рэмзи, глядя на дверь, и в тот же миг Минта Доил, и Пол Рэйли, и горничная с огромным блюдом вошли вместе в столовую. Они дико опоздали; они кошмарно опоздали, говорила Минта, пока они пробирались к разным концам стола.

— Я брошку потеряла, бабушкину брошку, —

говорила Минта таким сетующим голосом и так жалостно потупляла и вновь поднимала большущий, карий, отуманенный взор, садясь рядом с мистером Рэмзи, что в том всколыхнулась рыцарственность и он принялся над нею трунить.

Что за идиотская манера, спрашивал он, валандаться по скалам в драгоценностях?

Сперва она, в общем, побаивалась его, — он такой дико умный, — и в первый вечер, когда сидела с ним рядом, а он говорил про Джордж Элиот, она прямо погибала от страха, потому что третий том «Миддлмарча» посеяла в поезде и так и не знала, чем дело кончилось; но потом она здорово приспособилась и нарочно стала прикидываться еще более темной, раз ему нравится обзывать ее дурой. И сегодня — когда он стал над нею смеяться, она нисколечко не испугалась. И вообще, как вошла в столовую, сразу она поняла — чудо случилось: золотая дымка при ней. Иногда она бывала при ней; иногда нет. Она сама не знала, отчего она появляется, отчего исчезает, и при ней она или нет, пока не войдет в комнату, и тут она сразу все узнавала по взгляду какого-нибудь мужчины. Да, сегодня дымка при ней; еще как; она это сразу узнала по голосу мистера Рэмзи, когда он обозвал ее дурой. И, улыбаясь,

села с ним рядом.

Да, значит, свершилось, думала миссис Рэмзи; обручились. И на секунду почувствовала то, чего от себя уже и не ожидала — ревность. Ведь он, муж, тоже заметил это — сияние Минты; ему нравятся такие девицы, золотистые, рыжие, неуправляемые, лихие, не жеманящиеся, не «ущемленные», как аттестовал он бедняжку Лили. Есть что-то, чего ей самой не хватает, блеск какой-то, живость, что ли, которая привлекает его, веселит, и девицы вроде Минты у него ходят в любимицах. Подстригают его, плетут ему цепочки для часов, отрывают от работы, голосят (сама слышала): «Идите сюда, мистер Рэмзи; сейчас мы им покажем!» и он, как миленький, тащится играть в теннис.

Да нет, не ревнивая она вовсе; просто, когда уж заставишь себя глянуть в зеркало, обидно становится, что состарилась, и сама, наверное, виновата (счет за теплицу и прочее). Она даже им благодарна, что подначивают его («Сколько трубок сегодня выкурили, а, мистер Рэмзи?» и прочее), пока он не станет на вид почти молодым человеком; который очень нравится женщинам; не обременен, не согбен величьем трудов, вселенской скорбью, своей славой или несо-

стоятельностью; но снова таким, как когда она познакомилась с ним; изможденным и рыцарственным; каким помогал ей, помнится, выйти из лодки; таким вот неотразимым (она на него посмотрела, он трунил над Минтой и невероятно молодо выглядел). Ну а ей — «Сюда поставьте», — сказала она, помогая девушке-швейцарке осторожно водрузить рядом с ней огромный коричневый горшок с Boeuf en Daube, — ей лично нравятся оболтусы. Пусть Пол сядет с ней рядом. Она ему сберегла это место. Честное слово, иногда ей кажется, оболтусы — лучше. Не пристают к тебе с диссертациями. Как же много теряют они — сверхумники! В каких сухарей превращаются! Пол, думала она, когда он садился с нею рядом, в общем, милейшее существо. Ей ужасно нравится, как он держится, и его четкий нос, и глаза — синие, яркие. И какой он внимательный. Может быть, он поделится с ней — раз все занялись уже общей беседой, — что такое произошло?

— Мы вернулись поискать Минтину брошку, — сказал он, садясь с нею рядом. «Мы», — и довольно. По усилию голоса, на подъеме одолевавшего трудное слово, она поняла, что он в первый раз сказал «мы». «Мы» делали то-то, «мы» делали се-то. Так всю жизнь будут они говорить,

думала она, а дивный запах маслин и масла и сока поднимался от огромного коричневого горшка, с которого Марта сняла не без пышности крышку. Кухарка три дня колдовала над кушаньем. И надо поосторожней, думала миссис Рэмзи, зачерпнуть ложкой мягкую массу, чтоб выудить кусок понежнее для Уильяма Бэнкса. Она заглянула в горшок, где между сверкающих стенок плавали темные и янтарные ломтики упоительной снеди, и лавровый лист, и вино, подумала: «Вот и ознаменуем событие», — и странная эта идея, одновременно шутливая и нежная, всколыхнула сразу два чувства; одно глубокое — ведь что есть на свете серьезней любви мужчины к женщине, властительней, неотступней; с семенем смерти на дне; и вот этих-то любящих, двоих, с сияньем во взоре вступающих в царство иллюзии, надо окружить шутовским хороводом, увесить гирляндами.

— Шедевр, — сказал мистер Бэнкс, отложив на минутку нож. Он ел внимательно. Все сочно; нежно. Приготовлено безупречно. И как ей удается такое в здешней глуши? — спросил он. Удивительная женщина. Вся его любовь, вся почтительность к нему возвратилась; и она поняла.

— Еще бабушкин французский рецепт, — сказа-

ла миссис Рэмзи, и в голосе задрожала счастливая нотка. Французский — то-то же. Нечто, выдаваемое за английскую кухню, есть форменное позорище (согласились они). Капусту в семи водах вываривают. Мясо жарят, покуда не превратится в подошву. Срезают с овощей их бесценную кожицу. «В которой, — сказал мистер Бэнкс, — вся ценность овощей и заключена». А какое расточительство, сказала миссис Рэмзи. Целая французская семья может продержаться на том, что выбрасывает на помойку английская стряпуха. К ней вернулось расположение Уильяма, напряженье ушло, все уладилось, снова можно было торжествовать и шутить — и она смеялась, она жестикулировала, и Лили думала: что за ребячество, какая нелепость — во всем сиянии красоты рассуждать о кожице овощей. Что-то в ней просто пугающее. Неотразима. Вечно своего добивается, думала Лили. Вот и это сладила — Пол и Минта, конечно, помолвлены. Мистер Бэнкс, пожалуйста, за столом. Всех она опутала чарами, ее желания просты и прямы — кто устоит? И Лили сопоставляла эту полноту души с собственной нищетою духа и предполагала, что тут отчасти причиною вера (ведь лицо ее озарилось, и без всякой юности она вся сверкала), вера миссис

Рэмзи в ту странную, в ту ужасную вещь, из-за которой Пол Рэйли, в центре ее, трепетал, но был отвлечен, молчалив, задумчив. Миссис Рэмзи, чувствовала Лили, рассуждая о кожице овощей, ту вещь восславляла, молитвословила; тянула к ней руки, чтоб их отогреть, чтоб ее охранить, и, спроворив все это, уже усмехалась, чувствовала Лили, и жертвы вела к алтарю. И вот ее самое проняло наконец волненьем любви, ее трясом. Какой невзрачной казалась она себе рядом с Полом! Он горит и пылает; она бессердечно насмешничает. Он пускается в дивное плаванье; она пришвартована к берегу; он мчится вдаль без оглядки; она, забытая, остается одна — и готовая, в случае бед, разделить его беды, она спросила робко:

— А когда Минта потеряла брошку?

Нежнейшая из улыбок тронула его рот, отуманенная мечтой, подернутая воспоминаньем. Он покачал головой:

— На берегу, — сказал он. — Но я ее найду. Я встану ни свет ни заря. — И раз он собирался это сделать по секрету от Минты, он понизил голос и глянул туда, где она смеялась рядом с мистером Рэмзи.

Лили хотела искренно, от души предложить ему свою помощь и уже видела, как, идя по рас-

светному берегу, кидается на затаившуюся под камнем брошку, разом включая себя в круг моряков и искателей подвигов. И как же он на ее предложенье ответил? Она в самом деле сказала с чувством, которое редко позволяла себе демонстрировать: «Можно я с вами пойду?» А он засмеялся. Это могло означать «да» и «нет». Что угодно. Не важно. Странный смешок говорил: «Хоть с утеса кидайтесь, если хотите, мне-то что». Ей в щеку дохнуло жаром любви, ее жестокостью и бесстыдством. Лили ожгло, и, глядя, как Минта на дальнем конце стола чарует мистера Рэмзи, она пожалела бедняжку, попавшую в страшные когти, и возблагодарила судьбу. Слава Богу, подумала она, переводя взгляд на свою солонку, ей-то замуж не надо. Ей это унижение не грозит. Ее эта пошлость минует. Ее дело — подвинуть дерево ближе к центру.

Вот как все сложно. Потому что вечно она — а в гостях у Рэмзи особенно — ощущает мучительно две противоположные вещи сразу: одно — то, что чувствуешь ты, и другое — что чувствую я, — и они у ней сталкиваются в душе, вот как сейчас. Она так прекрасна, так трогает, эта любовь, что я заражаюсь, дрожу, я суюсь, совершенно вопреки своим правилам, искать на берегу эту брошку; но

она и самая глупая, самая варварская из страстей и превращает милого юношу с профилем тоньше камеи (у Пола восхитительный профиль) в громилу с ломом (он дерзит, он хамит) на большой дороге. И все же, говорила она себе, от начала времен слагались оды любви; слагались венки и розы; и спросите вы у десятерых, и ведь девять ответят, что ничего не знают желанней; тогда как женщины, по ее личному опыту судя, непрестанно должны ощущать — это не то, не то; ничего нет заунывней, глупее, бесчеловечней любви; и — вот поди ж ты — она прекрасна и необходима. Ну — и? Ну — и? — спрашивала она, будто предоставляя продолжение спора другим, как в подобных случаях выпускают свою маленькую стрелу заведомо наобум и оставляют поле другим. Так и она снова принялась их слушать в надежде, что прольют какой-то свет на вопрос о любви.

— А еще, — сказал мистер Бэнкс, — эта жидкость, которую англичане именуют «кофе».

— Ох, кофе! — сказала миссис Рэмзи. Но куда важнее проблема (тут ее не на шутку разобрало, Лили Бриско заметила, она очень возбужденно заговорила), проблема свежего масла и чистого молока. С жаром и красноречием она описала ужасы английского молочного хозяйства, и в

каком виде доставляют к дверям молоко, и хотела еще подкрепить свои обвинения, но тут вокруг всего стола, начиная с Эндрю посередине (так огонь перескакивает с пучка на пучок по дроку), рассмеялись все ее дети; рассмеялся муж; над ней смеялись; она была в огневом кольце; и пришлось ей трубить отбой, выводить из боя орудия и наносить ответный удар, выставляя перед мистером Бэнксом это подтрунивание примером того, чему подвергаемся мы, атакуя предрассудки английской публики.

Но видя, что Лили, которая так ее выручила с мистером Тэнсли, чувствует себя за бортом, она ее нарочно вытащила; сказала: «Лили, во всяком случае, со мной согласится», и вовлекла ее, слегка растерянную, слегка всполошенную (она думала о любви) в разговор. Они оба чувствуют себя за бортом, думала миссис Рэмзи, Лили и Чарльз Тэнсли. Оба страдают в сиянии тех двоих. Он, это ясно, скис совершенно; да и какая женщина на него глянет, когда в комнате Пол Рэйли. Бедняга! Но у него же эта его диссертация, влияние кого-то на что-то; ничего, обойдется. Лили — дело другое. Она померкла в сиянии Минты; стала еще незаметней, в своем этом маленьком сереньком платье, — личико с кулачок, маленькие

китайские глазки. Все у нее маленькое. И однако, думала миссис Рэмзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь (пусть Лили подтвердит, она говорит о своем молочном хозяйстве не больше, чем муж о своих ботинках, он часами говорит о ботинках), в сорок лет Лили будет лучше, чем Минта. В Лили есть основа; какая-то искорка, что-то такое свое, что она лично ужасно ценит, но мужчина едва ли поймет. Куда там. Разве что мужчина гораздо старше, как вот Уильям Бэнкс. Но ведь ему, ну да, миссис Рэмзи казалось порою, что после смерти жены ему сама она нравилась. Ну, не «влюблен», конечно; мало ли этих неопределяемых чувств. Ах, да что в самом деле за чушь, подумала она; пусть Уильям женится на Лили. У них же так много общего. Лили так любит цветы. Оба холодные, необщительные, каждый, в сущности, сам по себе. Надо их отправить вдвоем в дальнюю прогулку.

Сдуру она их усадила по разным концам стола. Ничего-ничего, завтра все можно уладить. Если погода хорошая — можно устроить пикник. Все казалось осуществимо, все казалось чудесно. Наконец-то (но такое не может длиться, думала она, выпадая из мгновенья, покуда они разговаривали о ботинках), наконец-то она в

безопасности; она как ястреб парит в вышине; реет, как флаг, вздутый радостным ветром, и плеск неслышный, торжественный, ведь радость идет, думала она, оглядывая их всех за едой, — от мужа, от детей, от друзей; и, поднявшись в глухой тишине (она выуживала для Уильяма Бэнкса еще крохотный кусочек и заглядывала в глубины глиняного горшка), отчего-то такое вдруг застывает туманом, стремящимся кверху дымком, и всех караулит, всех оберегает. Ничего не надо говорить; ничего и не скажешь. Здесь она — всех обволакивает. И это как-то связано, думала она, тщательно выбирая для Уильяма Бэнкса особенно нежный кусочек, — с вечностью; нечто похожее она уже чувствовала сегодня по другому поводу; все связано; непрерываемо; прочно; что-то не подтачивается переменами и сияет (она глянула на окно, струящее отраженья свечей) как рубин, наперекор текучему, скоротечному, зыбкому, — и опять нашло на нее давешнее — чувство покоя, покоя и отдыха. Из таких мгновений и составляется то, что навеки останется. Это останется.

— Да-да, — уверяла она Уильяма Бэнкса, — здесь еще бездна, всем хватит.

— Эндрю, — сказала она, — держи тарелку пониже, чтоб мне не накапать. (Boeuf en Daube

был совершенный шедевр.) Вот, она чувствовала, кладя ложку, вот он — островок тишины, какой не бывает на свете; и теперь можно было обожать (она уже всех оделила), можно было послушать, как ястреб, вдруг низринуться с высоты, кануть вниз, легко спланировать на хохот, поймать, схватить то, что в дальнем конце стола муж говорил про квадратный корень от числа тысяча двести пятьдесят три, которое ему выпало на железнодорожном билете.

Что такое? Вот уж она не могла усвоить. Квадратный корень? Что это? Сыновья — те знали. Она на них полагалась; на квадратный, на кубический корень; на всякое такое перешел разговор; на Вольтера, мадам де Сталь; на характер Наполеона; на французскую систему земельной аренды; на лорда Розбери[11]; на мемуары Криви[12] — она, не раздумывая, полагалась на это дивное, сложное, непонятное сооружение мужского ума, которое все возводилось, и как

---

[11] Примечания: 11

Розбери Арчибальд Филипп Примроуз (1847–1929) — английский государственный деятель и писатель; в 1894–1895 гг. был премьер-министром Англии

[12] Примечания: 12

Криви Томас (1768–1838) — член парламента от партии вигов; в 1903 г. были опубликованы его письма к падчерице, интересный документ эпохи

железные стропила держат постройку, держало весь мир; и держало ее; целиком ему вверясь, она могла даже на мгновенье закрыть глаза, на мгновенье зажмуриться, как ребенок жмурится, глядя с подушки на несчетные пласты расколыхавшихся листьев. Но тут она встрепенулась. Строительство шло. Уильям Бэнкс расхваливал романы автора Уэверли[13].

Он непременно раз в полгода один из них перечитывает, сказал он. И отчего же так вскинулся Чарльз Тэнсли? В совершенно расстроенных чувствах (а все потому, что Пру на него любезного слова жалко) он напустился на этого Уэверли, хоть ничего в нем не смыслил, решительно ничего, думала миссис Рэмзи, разглядывая его и не слушая, что такое он мелет. Она и так все видела: ему надо за себя постоять, и так будет вечно, пока он не сделается профессором, не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца «Я, я, я». Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером (или это Джейн Остен?) и сводится. «Я, я, я». Он думает о себе, о том, какое впечатление

[13] Примечания: 13

в 1814 г. Вальтер Скотт издал первый из своих исторических романов — «Уэверли»; далее, анонимно он выпустил еще ряд романов; авторство свое он раскрыл только в 1827 г.; весь этот цикл романов иногда принято и до сих пор называть «романами автора «Уэверли»

он производит, она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдет на пользу успех. Но ничего. Опять говорят, говорят. Уже можно не слушать. Это пройдет, не останется, она знала, но сейчас у нее был такой ясный взгляд, что, обводя всех сидящих вокруг стола, он высвечивал без труда их мысли и чувства; так крадется луч под водой и врасплох застигает волны и водоросли, плеск пескарей, сонный промельк форели, и все колышется, повисает, насквозь пробитое этим лучом. Она все видела; она все слышала; но то, что говорили они, было как трепет форели, сквозь который видишь волны, и дно, и что поправей, полевей; все это одновременно; и если в обычной жизни она запустила бы сети, выуживала бы то одно, то другое; сказала бы, что обожает эти романы Уэверли или что их не читала; бросилась бы вперед; сейчас она ничего не сказала. Она колыхалась, повиснув.

— Ну, и надолго ли, вы полагаете, это останется? — спросил кто-то. У нее словно работали щупальца, выхватывая отдельные фразы, настораживая вниманье. Вот и сейчас. Она учуяла опасность для мужа. Вопрос почти неминуемо повлечет какое-нибудь замечание, которое ему напомнит о собственной несостоятельности.

Он сразу подумает — долго ли его самого будут читать. Уильям Бэнкс (совершенно свободный от всякого такого тщеславия) засмеялся и сказал, что колебания моды его не волнуют. Кто скажет с уверенностью, что надолго останется — в литературе, как и в прочем во всем?

— Давайте же получать удовольствие от того, что его доставляет, — сказал он. Миссис Рэмзи ужасно нравилась эта его цельность. Уж он-то, конечно, не думает: «А каким боком это коснется меня?» Но если у тебя характер другой, если ты нуждаешься в похвалах, нуждаешься в поощрении, ясно, ты сразу почувствуешь (и конечно, мистер Рэмзи уже почувствовал) недовольство; захочешь, чтоб кто-то сказал: «О, но ваша-то работа, мистер Рэмзи, надолго останется», или что-то в подобном духе. Он уже совершенно ясно выказывал свое недовольство, с некоторым даже вызовом объявляя, что по крайней мере Скотт (или это Шекспир?) с ним лично до конца жизни останется. Он говорил с вызовом. Всем, она чувствовала, стало отчего-то неловко.

Но тут Минта Доил (со своим тонким инстинктом) бодро, безапелляционно бухнула, что не верит, будто кому-то в самом деле доставляет удовольствие Шекспир. Мистер Рэмзи сказал

мрачно (зато хоть снова отвлекся), что очень немногие наслаждаются им так, как принято делать вид. Но, с другой стороны, добавил он, в некоторых вещах есть тем не менее неоспоримые достоинства; и тут миссис Рэмзи поняла, что пока, слава Богу, пронесло; сейчас он будет трунить над Минтой, и та, сообразив, какая его гнетет забота, по-своему за ним приглядит, утешит, уж как-то похвалит. Жаль, но без этого не обойтись. Что ж, думала миссис Рэмзи, все сама небось виновата. Во всяком случае, покамест можно было со спокойной душой выслушать, что пытался рассказать Пол Рэйли о книгах, которые читаешь в детстве. Они остаются, сказал он. Он вот в школе еще читал Толстого, так одна вещь ему навсегда запала, только он названье забыл, там фамилия. Русские фамилии невообразимы, сказала миссис Рэмзи. «Вронский», — сказал Пол. Уж эту-то он запомнил, он все думал — в самый раз фамилия для негодяя. «Вронский… — сказала миссис Рэмзи. — А-а, «Анна Каренина», но дальше как-то застопорилось; книги были не по их части. О, Чарльз Тэнсли мог в два счета их просветить насчет книг, но все настолько мешалось с Верно ли я говорю? и хорошее ли я произвожу впечатление? что в конце концов вы больше узнавали

о нем, нежели о Толстом, тогда как Пол ведь говорил не о себе, а именно о предмете. Как у всех глупых людей, была у него известная скромность, внимание к вашим чувствам, а это тоже иной раз не лишнее. И сейчас он думал не о себе и не о Толстом, а о том, не холодно ли ей, не дует ли, не хочется ли ей грушу.

Нет, сказала она, груши не надо. Она стерегла блюдо с фруктами (не отдавая себе отчета), надеялась, что никто его не тронет. Блуждала взглядом по теням, по изгибам, по налитой лиловости гроздьев, всползала на гребень раковины, сопрягала с желтым лиловое, с выпуклым полое, не зная, зачем это нужно и отчего так отрадно; пока наконец — ах, ну какая жалость! — чья-то рука протянулась, грушу взяла и все разрушила. Она сочувственно поглядела на Розу. Поглядела на Розу, сидевшую между Пру и Джеспером. Как странно, что твой ребенок может сварганить такое.

Как странно: сидят тут рядком, — твои детки, Джеспер, Роза, Пру, Эндрю и, в общем, помалкивают, но по губам же видно — чему-то своему усмехаются. Это не имеет отношения к общему разговору; что-то они припасают, копят, чтоб потом у себя уже в комнатах нахохотаться. Только

б не над отцом. Нет, думала она, нет. Но что же это у них, гадала она, огорчаясь, и ей казалось, не будь ее здесь, они бы давно уже прыснули. Что-то такое там копится, копится, за тихими, почти застывшими лицами-масками; и не подступиться; они как надсмотрщики, как соглядатаи, выше, что ли, не то в сторонке от взрослых. Но, глядя на Пру, она видела, что по отношению к той это сегодня не вполне справедливо. Она только-только расшевеливается, встает, еще и не подступает к черте. Слабый-слабый свет лег на ее лицо, как отблеск сияния Минты, восхищенным предчувствием счастья; словно солнце любви мужчины и женщины всходило над скатертью и она, неведомому, ему поклонялась. Она все поглядывала на Минту, робко, но с любопытством, и миссис Рэмзи, переводя взгляд с одной на другую, в душе говорила Пру: «Ты будешь такой же счастливой. Ты будешь даже гораздо счастливей, ведь ты моя дочь» (разумела она); ее дочь должна быть счастливей, чем чья-то еще. Но ужин кончился. Надо идти. Они только кожурой на тарелках играются. Надо обождать, пока отсмеются над историей, которую рассказывает муж; у них с Минтой свои шуточки, про какое-то их пари. А там она встанет.

А ведь ей нравится Чарльз Тэнсли, подумала она вдруг; нравится, как он» смеется. Нравится, что он так сердится на Пола с Минтой. Нравится его нелепость. Безусловно, в нем что-то есть. Ну, а милую Лили, подумала она и положила салфетку рядом с тарелкой, всегда выручит чувство юмора. И нечего о Лили волноваться. Она ждала. Она сунула салфетку углом под тарелку. Ну как они — кончили? Нет. Та история потащила за собою другую. Муж сегодня в невероятном ударе, и, желая, наверное, загладить перед стариком Августом эпизод по поводу супа, он втянул и его в разговор — они друг другу рассказывали про кого-то, кого знали по колледжу. Она смотрела в окно, где свечи горели жарче на совсем уже черных стеклах, смотрела в то заоконье, и голоса доходили оттуда странно, как церковная служба, потому что она не вникала в слова. Потом вдруг взрыв хохота и голос, единственный (Минтин), ей напомнили о мужских и мальчишеских возгласах на латыни в одном католическом храме. Она ждала. Муж заговорил. Он говорил что-то, и она догадалась, что это стихи — по ритму и еще по высокой печали в голосе:

Пройди тропой крутою в сад,

Луриана, Лурили.

О том, что розы расцвели, нам уши прожужжат шмели[14].

Слова (она смотрела в окно) плыли, как лилии по водам за окном, ото всех отделенные, будто их и не произносит никто, будто сами собою рождаясь:

Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли,

Как лес шумят, как листопад.

Она не понимала значения слов, но, как музыка, они будто говорили ее собственным голосом, помимо нее, легко и просто говорили то, что весь вечер было у нее на душе, покуда она всякое произносила. Не глядя вокруг, она знала, что все за столом слушают голос:

Не знаю, думаешь ли ты,

Луриана, Лурили

с той же радостью, легкостью, что и она, будто наконец-то подыскали самое нужное и простое; будто это их собственный голос.

Но вот голос смолк. Она поглядела вокруг. Она

---

[14] Примечания: 14
из стихотворения англ. поэта Чарльза Элгона (1778–1853)

себя заставила встать. Август Кармайкл поднялся и, так держа салфетку, что она обвисала у него в пальцах длинной белой робой, стоя, он выпевал:

И по ромашковым лугам
Верхами мимо короли
В сверканье лат спешат назад,
Лурианa, Лурили,

и когда она проходила мимо, слегка к ней оборотясь, повторил:

Лурианa, Лурили

и склонился перед нею в глубоком поклоне. Почему неизвестно, но она догадалась, что сейчас он к ней лучше относится; и с облегчением, с благодарностью она поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он для нее придержал.

Теперь надо было все продвинуть еще на один шаг. Стоя на пороге, она мгновение медлила участницей сцены, которая уже распадалась под ее взглядом, и потом, когда она снова двинулась и, взяв под руку Минту, выходила из комнаты — изменилась, очертилась по-новому; уже, она знала, прощально оглядываясь через плечо, — стала прошлым.

18

Как всегда, думала Лили. Вечно что-то надо сделать именно сию секунду, что-то миссис Рэмзи по каким-то резонам решает сделать безотлагательно, и пусть все еще стоят, острят, вот как сейчас, не в силах разобраться — перейти ли в курительную, в гостиную или разбрестись по мансардам. И посреди этого гама вы видите вдруг, как миссис Рэмзи с Минтой под ручку заключает: «Да-да, пора» и тотчас с таинственным видом удаляется по собственным надобностям. И стоило ей уйти, все распалось; слонялись, бродили без цели; мистер Бэнкс взял под руку Чарльза Тэнсли, и они вышли на террасу оканчивать дискуссию о политике, затеянную за столом, разом все сдвинув и повернув, будто, думала Лили, глядя им вслед и выхватывая словцо-другое относительно политики лейбористов, взошли на капитанский мостик и определили курс корабля; такое на нее произвел впечатление переход от стихов к политике; итак, Чарльз Тэнсли и мистер Бэнкс удалились, прочие же смотрели, как миссис Рэмзи, одна, поднимается по ступенькам в озарении ламп. И куда, удивлялась Лили, она поспешает?

Нет, она не то чтобы торопилась, взбегала; она, в общем, даже медленно шла. Ей хотелось минуточку постоять после всей этой кутерьмы и выделить главное; единственно важное; отделить от всего остального; очистить от мусора чувств, шелухи слов, предъявить конклаву судей, ею же созванных для разбирательства. Пусть решат. Хорошо это, плохо, это верно или неверно? Куда мы держим путь?[15] И прочее. Так она приходила в себя после развязки и неосознанно, несообразно звала ветки вяза за окнами стать ей опорой. Ее мир менялся; они оставались на месте. Ей казалось, что все теперь сдвинулось, стронулось. Все теперь будет прекрасно. Надо только кое-что уладить, думала она, механически отмечая недвижное достоинство веток, а то величавый их взмыв (как корабля над волной), когда вспыхивал ветер. А было ветрено (она остановилась на лестнице — поглядеть). Было ветрено, и ветки вдруг обметали звезды, и звезды кидало в дрожь, и они отряхивали лучи и прошивали иглами листья. Да, дело сделано, кончено и, как все завершившееся, стало торжественным, и уже казалось, что так и было всегда, только все теперь

[15] Примечания: 15

перефразированные детские стишки: «Куда ты держишь путь, красавица моя?»

очистилось от шелухи, от мусора чувств, очистилось и сделалось явным, а сделавшись явным, поступило в веденье вечности. Теперь они будут, думала она, уже опять поднимаясь по лестнице, до конца своих дней вспоминать этот вечер; этот ветер; луну; этот дом; и ее. Ей было особенно лестно воображать, как, влегши в их души, она до конца их дней там останется; и это, и это, и это, думала она, всходя по ступенькам, усмехаясь, но нежной усмешкой, дивану на лестнице (еще маминому), качалке (еще отцовской); карте Гебридов. Все это оживет в жизни Пола и Минты; этих Рэйли. Она попробовала новоиспеченное сочетанье на вкус; и, берясь за дверную ручку детской, она ощущала ту общность с другими, которую дарит нежность и при которой разделяющие нас переборки делаются до того тонки (и это такая отрада и легкость), что мы вливаемся в общий поток, и стулья, столы и карты — все делается их и твое, чье — не важно, и Пол и Минта повлекут это все по потоку, когда самой ее уже не будет на свете.

Она повернула дверную ручку, твердо, чтобы не скрипнула, и вошла, слегка поджав губы, как бы напоминая себе, что нельзя говорить громко. Но едва вошла, она с досадой увидела, что предо-

сторожность напрасна. Дети не спали. Ужасно досадно. Хороша же и Милдред. Джеймс — сна ни в одном глазу, Кэм — торчком в кроватке, Милдред — на полу босиком (а уже полодиннадцатого), — спорят. Что такое? Да опять эта жуткая голова вепря. Она велела Милдред убрать ее, а Милдред, конечно, забыла, и вот Кэм и не думает спать, Джеймс не думает спать, пререкаются, а уж час назад им полагалось уснуть. И как только Эдварда угораздило прислать этого жуткого вепря? И она-то сама, тоже дура, разрешила его тут повесить. Он крепко прибит, Милдред сказала, и Кэм из-за него не может уснуть, а Джеймс поднимает крик, едва до него дотронешься.

Но Кэм надо спать, спать (у него такие большие рога, говорила Кэм…), спать, спать и поскорей увидеть во сне прекрасные замки, — говорила миссис Рэмзи, садясь на кроватку с ней рядом. По всей комнате эти рога, везде-везде, говорила Кэм. И правда. Едва зажигают ночник (а Джеймс без ночника спать не может), по всей комнате сразу расходятся тени.

— Кэм, ну подумай, ведь это просто старая свинка, — говорила миссис Рэмзи, — милая, черная свинка, ну, как свинки на хуторе.

Но Кэм утверждала, что страшные рога ее ловят

повсюду.

— Ну, хорошо, — сказала миссис Рэмзи, — вот мы их укутаем, — и все следили, как она подступила к комоду, быстро, один за другим, выдергивала ящички и, не найдя ничего подходящего, сдернула с себя шаль и намотала на вепря, намотала, намотала, и вернулась к Кэм, и легла лицом на подушку с Кэм рядом, и сказала, что теперь все очень, очень красиво; эльфам страшно понравится; похоже на птичье гнездышко; похоже на дивную гору, вот как она за границей видала, с цветами и долами, там звенят колокольчики, птички поют, и там антилопы и козлики… Она видела, как ее распев эхом отдается у Кэм в голове, и Кэм уже повторяла за нею, что это похоже на гору, на гнездышко, на сад, и там антилопы и козлики, и глазки у Кэм расширялись, слипались, и миссис Рэмзи говорила все монотонней, ритмичней, бессмысленней, что пора закрыть глазки, и спать, и увидеть во сне горы, долы, и падучие звезды, сады, антилоп, попугаев и козликов, и все-все такое красивое, говорила она, очень медленно отрывая лицо от подушки, и все механичней журчала, журчала, пока, распрямясь, не увидела, что Кэм спит.

А теперь, шепнула она, перейдя к кроватке

Джеймса, Джеймсу тоже надо спать, ведь видишь, сказала она, вепрь тут как тут; никто его не тронул; все как хотел Джеймс. Да, он убедился, что вепрь тут как тут, под шалью. Но он еще что-то хотел спросить. Они завтра поедут на маяк?

Нет, сказала она, завтра — нет, но совсем-совсем скоро, она ему обещала, как только погода будет хорошая. Он был очень хорошим мальчиком. Сразу лег. Она его укрыла. Но он никогда не забудет, она знала, и она сердилась на Чарльза Тэнсли, на мужа, на себя — зачем в него вселила надежду. Потом, ощупав себя по плечам, вспомнив, что намотала шаль на голову вепря, она встала и чуть побольше опустила окно, и услышала ветер, и глотнула прохладного безразличия ночи, и прошуршала Милдред «спокойной ночи», и тихо-тихо опустила щеколду, и ушла.

Главное, книги бы на пол у них над головой не обрушил, — думала она, все досадуя на Чарльза Тэнсли. Оба спят чутко; оба очень возбудимые дети; а раз он мог такое сказать насчет маяка, ему, естественно, ничего не стоит и книги на пол обрушить, как только дети уснут, задеть локтем и сверзнуть со стола целую стопку. Ведь кажется, он потащился наверх работать. Но, правда, у него такой заброшенный вид; но, правда, она вздохнет

с облегчением, когда он отбудет; но, правда, надо присмотреть, чтоб уж его завтра не обижали; но, правда, с мужем он чудо как мил; но, правда, манеры у него ни в какие ворота; но, правда, ей нравится, как он смеется, — спускаясь в этих мыслях по лестнице, она заметила, что луна уже смотрит в лестничное окно — круглая, желтая луна равноденствия; и она повернула, и все увидели, как она стоит над ними на лестнице.

Это моя мама, — думала Пру. Да. Пусть Минта смотрит; пусть Пол Рэйли смотрит. Мы все — что? А она настоящая[16], — чувствовала Пру, и никто на свете не мог сравниться с ней; с ее мамой. И, только что по-взрослому беседовавшая с другими, она стала снова маленькой девочкой, и все, что делали они, — оказалось игрой, и вопрос был только в том, позволит ли мама игру или ее запретит. И, думая про то, как повезло Минте, и Полу, и Лили, что они ее видят, и какое невозможное счастье ей самой привалило, и что она никогда не станет взрослой и не уедет из дому, она сказала, как маленькая:

— Мы хотели пойти на берег, на волны посмотреть.

---

[16] Примечания: 16

ср.: «Все мы поддельные, а он настоящий» («Король Лир», акт III, сц. IV)

В миг, ни с того ни с сего миссис Рэмзи превратилась в двадцатилетнюю, одержимую весельем девчонку. Лихую полуночницу. Да-да, пусть идут, конечно, пусть идут, кричала она и смеялась; и, бегом одолев последние две-три ступеньки, она поворачивалась к одному, к другому, и смеялась, и кутала Минтины плечи шарфом, и говорила, что ей бы страшно хотелось пойти, и они, наверное, страшно поздно вернутся. А часы у них есть?

— Да, есть, у Пола, — сказала Минта. Пол выкатил из замшевого футлярчика изящные золотые часы, чтобы ей показать. И, протягивая ей часы на ладони, он думал: «Она знает. Ничего не надо говорить». Показывая ей часы, он говорил: «Я это сделал, миссис Рэмзи. А все благодаря вам». И, глядя на золотые часы у него на ладони, миссис Рэмзи чувствовала — вот счастливица Минта! Стать женой человека, у которого золотые часы в замшевом футляре!

— Как бы мне тоже хотелось пойти! — вскрикнула она. Но ее удерживало что-то такое сильное, что и спрашивать даже не надо — что именно. Разумеется, ей невозможно было с ними пойти. Но она бы пошла с удовольствием, если б не то, другое, и, развлекаясь смешной мыслью (какое

счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов), она с улыбкой вошла в другую комнату, где за книгой сидел ее муж.

19

Разумеется, говорила она себе, входя в эту комнату, ей там что-то такое понадобилось. Чего-то хотелось. Прежде всего, хотелось сесть на определенное кресло под определенную лампу. Но ей хотелось чего-то еще, хоть она не знала, понятия не имела, чего именно. Она посмотрела на мужа (берясь за чулок и принимаясь вязать) и поняла, что ему не хотелось, чтоб его прерывали — это было ясно. Он читал и был увлечен. Он смутно улыбался, и она поняла, что он сдерживает себя. Он с треском перебрасывал страницы. Он играл. Возможно, воображал себя одним из героев. Интересно — что за книга? А-а, это старый сэр Вальтер, разглядела она, пока прилаживала абажур, направляя свет на вязанье. Потому что Чарльз Тэнсли говорил (она кинула взглядом по потолку, как бы опасаясь, что оттуда посыпется грохот сваленных книг), говорил, что Вальтера Скотта в наше время читать невозможно. Вот муж и подумал: «Так и обо мне скажут»; и взял эту книгу. И если он придет к заключению «Это верно», про то, что говорил Чарльз Тэнсли, он успокоится насчет Вальтера Скотта. (Она видела

— он взвешивал, сопоставлял, прикидывал то да се.) Но не насчет себя. Вечно он насчет себя беспокоится. Это печально. Вечно дергается из-за собственных книг — будут ли их читать, хороши ли, почему не становятся лучше, да что обо мне скажут? Недовольная такими своими мыслями про него, гадая, не понял ли кто за ужином, откуда взялось его раздражение, когда речь зашла о долговечности славы и книг, гадая, не над ним ли смеялись дети, она спустила петлю, и лоб и губы подернулись у нее как тонко по меди вытравленной сеткой, и она затихала, как дерево трепещет, дрожит, а потом затихает, листок за листком, когда успокоится ветер.

Не важно, совсем это не важно, думала она. Великий человек, великая книга, слава — кто скажет с уверенностью? Ничего она этого не понимала. Но уж так он устроен со своим правдолюбием — и за ужином она ведь, главное, думала: хоть бы он заговорил! Она совершенно на него полагалась. И, опуская все это, как минуешь, ныряя, там водоросли, там пузыри, там соломинки, снова она почувствовала, погружаясь все глубже, как почувствовала тогда в прихожей, сквозь пестрый разговор — «Чего-то мне хочется — я зачем-то пришла», — и она падала глубже и глубже,

сощурив глаза, так и не разобравшись, что же это такое. И она выжидала, она вязала и думала, и вот те слова, которые произносились за ужином:

О том, что розы расцвели,

Нам уши прожужжат шмели,

стали плескаться, качаться у нее в голове, и покуда они плескались, качались, — еще слова, как затененные огни, тот красный, тот синий, тот желтый, возникали, лились, ускользали, или это снимались с насестов, и летели, и кричали они, а им вторило эхо; и она повернулась и нашарила на столике книгу.

Все жизни, те, что впереди,

Те, что давно прошли,

Как лес шумят, как листопад,

тихонько прошуршала она и воткнула спицы в чулок. И она открыла книгу и принялась читать наобум, наугад, будто карабкаясь вверх, вниз, пробираясь густой лепестковою осыпью и едва различая — тот вот белый, тот — красный. Сперва она совсем не понимала слов.

Когда читаю в свитке мертвых лет

О нежных девушках, давно безглас-

ных[17].

прочитала она и перевернула страницу, и, во власти ритма, доверясь его зигзагам, перебиралась со строки на строку, как с ветки на ветку, от одного красного и белого цветка к другому, пока не очнулась от легкого звука, — муж хлопнул себя по ляжкам. На секунду их глаза встретились; но разговаривать им не хотелось. Им нечего было друг другу сказать, но что-то все равно перешло от него к ней. Жизнь сама, ее власть, невероятное удовольствие вызвало этот хлопок по ляжкам. Ты уж меня не трогай, будто умолял он, ты ничего не говори. Только сиди тут, пожалуйста. И он продолжал читать. У него подрагивали губы. Его переполняло прочитанное. Оно его укрепляло. Он начисто позабыл о мелких шероховатостях минувшего вечера, о том, как тяжело, как скучно было ему торчать за столом, покуда прочие без удержу ели и пили, и как сердился он на жену, как задело его и унизило, что о его книгах попросту не было речи, будто их и не существует на свете. А теперь ему было с высокой горы наплевать, кто достигнет конца алфавита (если мысль человеческая, как алфавит до конца, добирается

---

[17] Примечания: 17
Шекспир. Сонет 106

до вершин). Кому-нибудь да удастся — не ему так другому. Сила и цельность этого человека, простое, без штук, понимание главных вещей, эти рыбаки, бедное, старое, полубезумное созданье в хижине Макльбеккита[18] — дали ему ощущение такой силы, такого освобождения, что он почувствовал невозможное сжатие в горле, он ликовал, он не мог сдержать слез. Чуть приподняв книгу, чтобы спрятать лицо, он их и не сдерживал, и качал головой, и раскачивался, и совершенно забыл себя (лишь два-три соображенья мелькнули — о морали, об английском и французском романе, о том, что у Скотта связаны руки, но понимание жизни, быть может, не менее верно, чем у прочих иных), забыл о своих терзаниях и несостоятельности, они были стерты, стерты решительно гибелью бедного Стини и горем бедного Макльбеккита (здесь Скотт в своем лучшем виде) и странным восторгом и ощущением силы, которое они ему дали.

Н-да, пусть-ка попробуют переплюнуть старика, думал он, дочитав главу до конца. Он будто с кем-то спорил и одержал верх. Им его не переплюнуть, пусть говорят, что хотят; а собственная

---

[18] Примечания: 18
персонаж романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816)

его позиция укрепилась. Любовная пара — весьма не ахти, думал он, снова все перебирая в уме. Это весьма не ахти, а то — первоклассно, думал он, сопоставляя частности. Но надо еще перечесть. Восстановить целиком образ вещи. От окончательного суждения он покуда воздержится. И он вернулся к другой мысли — если уж молодежи не нравится это, естественно, он сам ей не может понравиться. И тут нечего жаловаться, думал мистер Рэмзи, изо всех сил одолевая порыв пожаловаться жене, что у молодежи он не пользуется успехом. Но он решил — нет; не станет он ее мучить. Он смотрел, как она читает. У нее за книгой такой благостный вид. Приятно было думать, что все убрались и оставили их одних. Смысл жизни не только в постели, подумал он, снова возвращаясь к Бальзаку и Скотту, к английскому роману и французскому роману.

Миссис Рэмзи подняла голову и, как человек в легкой дреме, будто говорила, что, если он хочет, она проснется, она непременно проснется, ну, а нет, так можно ей еще чуть поспать, еще только чуть-чуть поспать? Она карабкалась по своим веткам, так и сяк, нашаривая цветок за цветком.

— Пурпурных роз душистый первый

цвет...[19]

— читала она и, так читая, взбиралась вверх, на самую маковку. Как хорошо! Как вольно! Все мелочи дня липли к этому магниту; душа очищалась от мусора. И вдруг — стройный, цельный — он оказался у нее на ладони, дивный, разумный, округлый, верх совершенства, крепкая вытяжка из жизненных соков — сонет.

Но она почувствовала на себе взгляд мужа. Он на нее смотрел с насмешливой улыбкой, как если бы нежно ее корил за то, что уснула среди бела дня, но тем временем думал: читай-читай. Сейчас ты зато не печальная. И он гадал, что же она такое читает, и он преувеличивал ее невежество, ее простоту, потому что ему нравилось думать, что не так уж она образованна, не так уж умна. Интересно, хоть понимает она, что читает? Наверное нет, он думал. Она поразительно хороша. Ее красота, если это только мыслимо, все расцветает.

Была зима во мне, а блеск весенний
Мне показался тенью милой тени[20].

---

[19] Примечания: 19
Шекспир. Сонет 98

[20] Примечания: 20
Шекспир. Сонет 98

— А? — спросила она, этим сонным эхом отзываясь на его улыбку, и подняла взгляд от книги.

— Мне показался тенью милой тени… — прошептала она и положила книгу на столик.

Что произошло, перебирала она, снова взяв в руки вязанье, с тех пор, как они в последний раз виделись наедине? Она вспомнила, как переодевалась к ужину, как увидела луну; Эндрю слишком высоко держал тарелку за ужином; какие-то слова Уильяма ее огорчили; грачи на вязах; диван на лестнице; дети не спали; Чарльз Тэнсли вечно их будит, обрушивая свои книги — ах нет, это же она сочинила; а у Пола замшевый футляр для часов. Что бы ему такое сказать?

— Они обручились, — сказала она, принимаясь вязать. — Пол и Минта.

— Я догадался, — сказал он. Тема казалась исчерпанной. У нее душа все еще качалась — вверх-вниз, вверх-вниз — в такт стихам; он все еще чувствовал себя сильным, прямым после сцены похорон Стини. И оба молчали. Потом она поняла: ей хотелось, чтобы он сказал что-нибудь.

Что-нибудь, что-нибудь, — думала она, накидывая петлю. Что угодно сойдет.

— Какое, наверное, счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для

часов, — сказала она, потому что такие шутки были у них в ходу.

Он фыркнул. Он эту помолвку расценивал так же, как все вообще помолвки; девица чересчур хороша для юнца. А у нее в тайниках сознания вставало: и почему всегда так хлопочешь, чтобы люди женились? И все вообще — для чего и зачем? (Что бы они ни сказали теперь, будет правдой.) Ну, скажи что-нибудь, думала она, только чтоб услыхать его голос. Она чувствовала: тень, коснувшаяся, окутавшая их обоих, теперь смыкалась над нею — одной. Скажи хоть что-нибудь, глядя на него, молил а она, как на помощь звала.

Он молчал, раскачивал компас на своей часовой цепочке, думал о романах Скотта и романах Бальзака. Но сквозь вечереющие стены их близости — ведь их ненароком притягивало друг к другу, и они были уже совсем-совсем близко, бок о бок, — она почувствовала, как своим умом он будто застит ей свет; он же, едва мысли ее приняли оборот, которого он не любил и честил пессимизмом, стал дергаться, хоть ничего не сказал, стал поднимать руку ко лбу, крутить прядь и отшвыривать, покрутив.

— Ты сегодня не кончишь этот чулок, — сказал он и ткнул в чулок пальцем. А ей того и надо

было — резкости, недовольства в его голосе. Раз он говорит, что нельзя быть пессимисткой, значит, наверное, нельзя, — думала она; брак еще окажется на редкость удачным.

— Да, — сказала она, разглаживая чулок на коленях. — Не кончу.

Но что же дальше? Ведь он все смотрел на нее, но взгляд теперь изменился. Ему чего-то хотелось, — хотелось того, что ей всегда так трудно было ему дать; хотелось, чтобы она сказала ему, что она его любит. А вот это она, ну, никак не могла. Ему говорить легко. Он все может выговорить, а она вот нет. Поэтому именно он и говорит всегда разные вещи, а после почему-то вдруг обижается и ее корит. Бессердечная женщина — он ее называет; ни разу ему не сказала, что любит его. Но не так это все, не так. Просто она не умеет выражать свои чувства. На пиджаке у него ни сориночки? Так-таки ничего не может она для него сделать? Она встала к окну с красно-бурым чулком в руке, — отчасти чтоб от него отвернуться, отчасти потому, что была не прочь под его взглядом смотреть на маяк. Она знала: он повернул голову, едва она отвернулась; он на нее смотрел. Она знала: он думал — никогда еще не была ты так хороша. И она чувствовала, что хороша. Неужто ты мне хоть

раз в жизни не скажешь, что любишь меня? Он так думал, потому что расстроился из-за Минты, из-за своей книги и оттого, что кончался день, и они ссорились из-за этого маяка. Но она не могла; не могла это выговорить. Потом, зная, что он на нее смотрит, она не сказала ничего, зато повернулась с чулком в руке и на него поглядела. И, глядя на него, она начала улыбаться, и хоть она ничего не сказала, он знал, ну конечно, он знал, что она любит его. Этого он не мог отрицать. И, улыбаясь, она поглядела в окно и сказала (а сама думала — что на свете сравнишь с этим счастьем?):

— Да, ты прав оказался. Завтра будет дождь.

Она ничего не сказала, но он знал. И она на него поглядела с улыбкой. Потому что снова она победила.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОХОДИТ ВРЕМЯ



1

— Что ж, подождем, будущее покажет, — сказал мистер Бэнкс, входя с террасы.

— Темно, почти ничего не видно, — сказал Эндрю, поднявшись с берега.

— Не разберешь, где земля, где вода, — сказала Пру.

— Свет оставим? — спросила Лили, когда все, войдя, снимали плащи.

— Нет, — сказала Пру, — зачем, раз все вошли.

— Эндрю, — крикнула она через плечо, — ты погаси свет в прихожей!

Постепенно везде погасили свет, только у мистера Кармайкла, любившего почитать Вергилия на сон грядущий, еще какое-то время горела свеча.

2

И вот погашены лампы, зашла луна, и под тоненький шепот дождя началось низвержение тьмы. Ничто, казалось, не выживет, не выстоит в этом потопе, в этом паводке тьмы; она катила в щели, в замочные скважины, затекала под ставни, затопляла комнаты, там кувшин заглотнет, там стакан, там вазу с красными и желтыми далиями, там угол, там неуступчивую массу комода. И не одна только мебель сводилась на нет; уже почти не осталось ни тела, ни духа, о котором бы можно сказать: «Это он» или «Это она». Лишь поднимется вдруг рука, будто что-то хватая, отгоняя что-то, или кто-то застонет, или вслух захохочет, будто приглашая Ничто посмеяться.

В гостиной, в столовой, на лестнице — замерло все. И тогда-то сквозь ржавые петли и взбухшее от морской сырости дерево (дом ведь, в общем, развалина) отпавшие от тугого, упрямого ветра легкомысленные ветерки отважились забраться вовнутрь. Так и виделось, как, заявившись в гостиную, шелестя клочками обоев, они, хорохорясь, спрашивают — сколько же можно висеть? Не пора ль на покой? Потом, осторожно, вдоль

стен, они крались дальше, будто задумчиво спрашивая у красных и желтых розанов на обоях, не пора ли им выцвесть, и дознавались (вкрадчиво, спешить было некуда) у обрывков писем и корзинке, у цветов и у книг (беззащитных сейчас), кто они им — союзники? Или враги? И надолго ль все это?

А потом, подтянувшись на случайном луче оголенной звезды, заплутавшего корабля или это маяка, может быть, на коврах и ступенях, ветерки пробрались по лестнице, пробрались к спальне. Но тут уж им надо уняться. Все прочее пусть пропадает пропадом, здесь же все прочно. Скользким лучам, шальным ветеркам, дышащим над самой постелью, приказано — прочь. И устало, как призраки, подобные перисто-легким перстам и легкопружинистым перьям, только глянув на смеженные веки, на вольно скрещенные руки, подобрав одежды, устало они отступили. Льстиво стелясь, отступили на лестницу, в комнаты для прислуги, в мансарды; спускаясь, согнали румянец с яблок на подносе в столовой, ощипали с роз лепестки, ощупали на мольберте картину, взъерошили ворс на ковре, песком посыпали пол; потом, вдруг, разом все собрались; убрались восвояси; на прощанье все разом издали

бесцельный жалостный стон; и кухонная дверь отозвалась; распахнулась; никого не впустила; захлопнулась.

(Тогда мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.)

3

Но что такое, в сущности, одна ночь? Запинка на повороте, особенно, когда тьма так скоро линяет, так скоро птица поет, кричит петух, и волна выносит на впадине робкую зелень, как летучий листок. Но идет ночь за ночью. У зимы их непочатая колода в запасе, вот она их и мечет, ровно, сдержанно, неутомимыми пальцами. Ночи делаются длиннее; темней. Иные проносят поверху мерцанье планет, яркие световые круги. Осенние деревья, обобранные, занимаются алостью флагов, горующих в сумеречной прохладе соборов над мрамором, над золотыми строками о смерти в бою, о том, как в песках дальней Индии тлеют славные кости. Осенние деревья сияют в желтом свете луны, луны равноденствия, и она умеряет рвенье трудов, и оглаживает стерню, и синим бегом волны окатывает берег.

Вот, кажется, разжалобясь человеческим покаянием и нашими подвигами, божественное милосердие рвануло занавес на сторону и показало за ним отдельно, отчетливо: вскочившего зайца; взмыв волны; качанье челна — и все это, стоило нам заслужить, навеки осталось бы с

нами. Но нет. Божественное милосердие занавес тотчас задергивает; ему претит это все; оно кроет свои сокровища грохотом града, кружит, перемешивает, и никогда им не знать покоя, а нам не составить по жалким осколкам прекрасного целого, не разобрать по обрывкам ясных слов правды. Наше покаяние стоит одного только взгляда; наши подвиги — только и стоят отсрочки.

Ветер и гибель теперь — хозяева ночи; деревья гнутся, скрипят и густым листопадом обшивают лужайку, душат сточные желоба, залепляют мокрые тропки. А море мечется, мается, и если кто-то стряхнет одеяло и сон, и ринется на берег, и станет бродить взад-вперед по песку в надежде найти ответы на свои вопросы и спутника в своем одиночестве, — он там не найдет ничего, ничего, скорое божественное заступничество не кинется унимать ночь, мир не будет услужливо отражать его душу. В руке его вянет чужая рука; голос воет в уши. И в пустом безумии ночи уже почти нелепыми кажутся «что?» «отчего?» и «зачем?», погнавшие его из постели.

(Мистер Рэмзи, спотыкаясь на ходу одним темным утром, распростер руки, но, так как миссис Рэмзи вдруг умерла прошлой ночью, он просто распростер руки. Они остались пустыми.)

4

А в пустой дом, где заперты двери и матрасы скатаны, ворвались шалые ветерки — авангардом великого воинства, — схватились с голыми досками, ударили по их обороне, развернулись веером, но и в гостиной, и в спальне встретили весьма жалкие силы: хлюпающие обои, расстонавшиеся половицы, голые ножки столов да фарфор, уже пыльный, тусклый, растресканный. То, что скинули и сбросили люди — пара ботинок, охотничий шлем, выцветшие юбки и пиджаки по шкафам, — одно и хранило человеческий облик и помнило среди пустоты, как когда-то его наполняли, одушевляли; как руки когда-то возились с крючками и пуговицами; как зеркало ловило лицо; ловило вогнутый мир, и там поворачивалась голова, взлетала рука, отворялась дверь, вбегали дети: и зеркало снова пустело. Теперь день за днем луч света, отражением лилии на воде, поворачивался на стенке напротив. И тени деревьев, качаясь под ветром, кланялись там же на стенке, и мгновенно мутили пруд, в котором луч отражался; да тень пролетающей птицы нежным пятном иногда порхала по полу спальни.

Так красота здесь царила и тишина, и вместе они были образом красоты; форма, не разогретая жизнью; одинокая, как вечером пруд, дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший гаснущий пруд, что хоть его и застигли, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне, среди обернутых кружек, затянутых кресел, и даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие, вечными своими вопросами «Вы увянете?» «Вы погибнете?» почти не тревожат покоя, равнодушия, вида чистейшей нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят и мимо ушей пропускают ответ: мы остаемся.

Казалось, ничто не разрушит образ, не прорвет качающийся намет тишины, который месяц за месяцем в пустыне комнат узором вплетал в себя падучие крики птиц, гудки пароходов, жужжанье и шелест полей, чей-то бас, и собачий лай — вплетал и укутывал дом в тишину. Только стрельнула раз половица, а еще среди ночи с воем, бешено, как отрывается от горы и с грохотом крушится в ущелье застоявшийся веками утес, край шали отцепился и стал качаться. Но снова спустился покой; и кивала тень; и луч преклонялся молит-

венно перед собственным отраженьем, когда миссис Макнэб, раздирая намет тишины руками, наплескавшимися в лохани, рвя в клочья башмаками, нахрустевшимися по гальке, явилась, как было ей велено, отворить все окна и прибрать в комнатах.

5

Кренясь (она переваливалась, как лодка в волнах) и косясь (взгляд ни на чем не задерживался, со всего соскальзывал, уклонялся от злобного, враждебного мира: она была придурковата, сама это знала), тиская перила, втаскиваясь наверх, переваливаясь из комнаты в комнату, она напевала. Терла высокое зеркало, косилась на собственное валкое отражение и напевала что-то, что, наверное, лет двадцать назад гремело со сцены и, привязчивое, заставляло многих плясать, а теперь в беззубом рту поденщицы окончательно рассталось со смыслом и было — придурковатость сама, и веселость, и терпенье, ничему не поддающееся терпенье; и когда она, кренясь, терла, мыла, скребла, она как рассказывала, что жизнь нам на то и дана, чтобы горе мыкать, вечно вставать на заре и плюхаться ночью в постель, вечно ворочать и прибирать то да се… Не очень-то он хорош, этот мир, за семьдесят лет уж она убедилась. Ее скрючило всю от усталости. Сколько еще, спрашивала она, кряхтя, ерзая на коленках под кроватью, протирая доски, — сколько это еще протянется? Но снова она поднималась на

ноги, разгибалась, поднатуживалась, и со своим этим взглядом, уклончивым, ускользающим как бы от собственного лица, от собственной маеты, стояла перед зеркалом, и, усмехнувшись чему-то, снова принималась вытряхивать половики, вытирать и ставить на место фарфор, и смотрела искоса в зеркало, будто ей в конце концов есть чем утешиться, и в ее жалобную литию вплетена неисправимая, неприличная даже надежда. Наверное, какие-то мирные виды открывались ей над лоханью, или, скажем, когда бывала с детьми (двух она в подоле принесла, один от нее сбежал), или в пивной, когда пропускала стаканчик, или когда разный хлам ворошила, роясь в укладке. Была же, значит, прореха во тьме, расщелина в сплошной черноте, и сквозь нее пробивалось достаточно света, раз лицо ее в зеркале сводило усмешкой, и, возвращаясь к работе, она мурлыкала стародавнюю дребедень. Мистики, духовидцы — те бродили по берегу, ворошили камни и лужи, спрашивали: «Что я такое? Что это такое?» И вдруг им бывал дарован ответ (они сами в нем не могли разобраться), от которого делается уютно в пустыне и на морозе тепло. А миссис Макнэб — она все пила и любила посплетничать.

6

Весна без единого листика, голая, яркая, как ярая в целомудрии дева, заносчивая в своей чистоте, была уложена на поля, бессонная, зоркая и решительно безразличная к тому, что будет делать и думать ее наблюдатель.

(Пру Рэмзи, склоняясь на руку отца, была выдана замуж тем маем. Уж куда как справедливо, люди говорили. И прибавляли — до чего ж хороша!)

Близилось лето, вытягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, ворошившим лужи, стали являться фантазии самого странного свойства — будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака на то и сходятся вместе, чтобы собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеркалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтанья и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина и женщина, и сама седая земля (но

если спросить впрямую, все тотчас шло на попятный), что верх одержат добро и счастье; победит порядок; и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу, далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла. Весна же тем временем, нежнея, одевалась жужжанием пчел, комариными танцами, укутывалась в свой плащ, прикрывала глаза, отводила лицо и в порхании теней и ливней уже вникала в людские печали.

(Пру Рэмзи умерла тем летом от какой-то болезни, связанной с родами. Вот уж трагедия, люди говорили. Кто-кто, а она, говорили, заслужила счастье.) И вот в летний зной ветер снова выслал к дому своих соглядатаев. Паутина раскачивалась на солнечных пыльных столбах; а в оконные стекла стучались без устали по ночам сорняки. Когда падала тьма, луч маяка, прежде так властно распластывавшийся на ковре, во тьме оглаживая узор, теперь набирался вкрадчивости у лунного света, медлил, тайком озирался и возвращался, влюбленный. Но в тиши ласк, когда прочный луч улегся поперек постели, вдруг

сорвался утес; отцепился второй край шали; и повис, и болтался. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах стояло жужжание мух и эхо с полей, длинный вымпел тихо болтался, веял бесцельно; а солнце так исхлестало голые комнаты, напустило туда такого желтого чада, что миссис Макнэб, когда вломилась и переваливалась из комнаты в комнату, скребла и терла, — выглядела тропической рыбой, пробиравшейся по пробитым солнцем волнам.

Шали бы дремать, ей бы спать, но попозже, летом, пришел зловещий звук, как ветром придушенный удар топора, он повторялся настойчиво, и узел шали от него расслаблялся все больше и совсем уж потрескались чашки в буфете. А то в буфете вдруг звякал стакан, будто так истошно, так пронзительно вопил кто-то, что даже стаканы в буфете кидало в дрожь от этого вопля. И снова спускалась тишина, и тогда, ночь за ночью, а иной раз и среди бела дня, когда ярко вычерчивались розаны на обоях, в эту тишину, это безразличие, неприкосновенность — врывался глухой стук, будто падало что-то.

(Взорвалась граната. Двадцать или тридцать юношей погибли во Франции, среди них и Эндрю

Рэмзи, который, к счастью, умер мгновенно.)

В то лето тем, кто бродил по берегу и допытывался у неба и моря, какую несут они весть, какое подкрепляют виденье, среди привычных знаков божественной щедрости (закат над морем, бледный рассвет, восход луны, рыбачьи лодки на лунной дорожке, дети, швыряющие друг в дружку травой) приходилось замечать кое-что, не вязавшееся с этой безмятежностью и благодатью. Например, немой призрак пепельно-серого корабля; он появлялся, скрывался; по скользкой глади моря растекалось багровое пятно, будто что-то невидимое прорвалось и кровоточит. Эти помехи портили сценку, призванную пробуждать возвышеннейшие чувства, наводить на приятнейшие умозаключения, и затрудняли прогулку по берегу. Нельзя было их просто отбросить, перечеркнуть их роль для ландшафта; и, блуждая по берегу, далее рассуждать о том, каким образом внешняя красота отображает красоту внутреннюю.

Подхватывает ли природа то, что человек предлагает? Завершает ли то, что он затевает? С равным безразличием смотрит она на его нужды, снисходит к его низости, допускает его мученья. Так, значит, все эти мечты насчет того, чтобы

разделять, завершать и находить одиноко на берегу все ответы, — лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь блистательная поверхность, образующаяся в состоянии покоя, покуда более благородные силы дремлют на глубине? Раздраженному, изверившемуся, но упирающемуся (красота ведь расставляет силки, соблазняет привадами) бродить по берегу уже не под силу; созерцание невыносимо; зеркало разбито.

(Мистер Кармайкл той весной выпустил сборник стихов, который имел неожиданный успех. Война, люди говорили, оживила интерес к поэзии.)

7

Ночь за ночью зима и лето, грохот бурь и стрелою жужжащая ведренная тишина без помех справляли свою тризну. В верхние комнаты (если было бы там, кому слушать) несся снизу, из пустоты, только рев безбрежного хаоса, когда его резали молнии; и расходились ветры, и вал налезал на вал, и они трудились осатанелыми левиафанами, и опрокидывались, расплескивая свет или тьму (ночь, день, месяц, год — все мутно слилось), и могло показаться, что вот-вот всполошенный, идиотски заигравшийся мир ненароком сам себя сокрушит и оборет.

Весною в садовых урнах всходили случайные семена и урны опять веселели. Фиалки тянулись вверх и нарциссы. Но тихие ясные дни так же себя не помнили, как ошалелые ночи, и деревья стояли, и стояли цветы, и глядели перед собою, глядели в пустое небо, слепые, и поэтому страшные.

8

Греха на душу не взявши, они ведь не думали ворочаться (кто говорил — и совсем, никогда, а дом, что ли, на Михайлов день продадут), миссис Макнэб нагнулась и нарвала букет, — взять с собой. Пока прибиралась, она его положила на стол. Цветы — дело хорошее. Чего им зря пропадать? Раз дом продается (она стояла подбочась перед зеркалом), за ним догляд будет нужен. Куда там. Сколько лет пустой простоял — без единой души. Книги, то да се, — все плесневелое, война, рабочие руки взять негде, ну и не прибирались, как положено. А теперь разве одному человеку сладить? Сама она старая стала. Ноги болят. Книги небось все выложить надо на травку, под солнышко; в прихожей штукатурка обсыпалась; над кабинетом водосток забило, воды натекло; ковер вон весь сгнил. Им бы самим приехать; хоть послали б кого. Шкафы от одежи ломятся; по всем комнатам побросали одежу. И что с нею делать? Моли невидимо развелось. У миссис у Рэмзи в одеже. Бедная. Уж ей одежей не пользоваться. Померла, говорят; давно, в Лондоне. Вон серый плащ старый, она его, в саду когда рабо-

тала, надевала (миссис Макнэб пощупала плащ). Бывало, миссис Макнэб идет по въезду с бельем, а та над цветами стоит (теперь-то на сад смотреть тошно, весь зарос, кролики с клумб от тебя так и прыскают), стоит она в этом сером плаще, а с ней кто-нибудь из детишек. Вон — туфельки, башмаки, а на туалете гребеночка, щеточка, будто вот завтра она и объявится. (В одночасье, говорят, померла.) А они было приехать надумали, да отложили, война — не больно наездишься; так все годы и пособирались; деньги, правда, слали; но ни словечка не написали, не ездили, и думают — все, как кинули, прости господи, так и застанут. А в комоде-то чего не напихано, носовых платков, всяких ленточек! Да, бывало, она идет по въезду с бельем, а в саду миссис Рэмзи стоит.

«Добрый вечер, миссис Макнэб», — скажет, бывало.

Такая всегда обходительная. Девушки, бывало, на нее не нарадуются. Да только с той поры, прости господи, много воды утекло (она задвинула ящик комода); многие родных потеряли. И она вот померла; и мистера Эндрю убили; и мисс Пру тоже померла, говорят, первым ребеночком; да ведь и все в эти годы потери несли. Цены поднялись, прямо стыд, а падать — не падают. Она так

и видела ее в этом сером плаще.

«Добрый вечер, миссис Макнэб», — скажет, бывало, и всегда кухарке велит для нее тарелочку горячего молочного супа сберечь — небось догадается, что суп ей не повредит, раз она притащилась из города с тяжеленной поклажей. Миссис Макнэб так и видела, как она гнулась над своими цветами (и смутная, зыбкая, как желтый луч, как светлый кружок на дальнем конце телескопа, дама в сером плаще, склоняясь над своими цветами, скользила медленно по стене спальни, по туалетному столику, над умывальником, покуда миссис Макнэб возилась, скребла и терла).

Как кухарку-то звали? Милдред? Мэрион? Вроде похоже. Ох, позабыла. Память совсем никуда. Кухарка-то прямо порох. Известно — рыжая. Ну и смеху у них бывало! Миссис Макнэб на кухне всегда привечали. И то сказать, уж она умела их насмешить. Тогда все вообще лучше было.

Она вздохнула; одной женщине с такой работой не сладить. Она покачала головой. Тут детская была. Ох, и сырости тут; штукатурка вся порастрескалась. Ишь чего удумали — свиную голову на стену вешать. Тоже заплесневелая вся. А по чердаку всюду крысы. Крыша-то течет. А они — сами не едут; писем не шлют. Засовы везде

заржавели, вот двери и хлопают. И не останется она тут в темноте, одна-одинешенька. Да без подмоги и не сладить, не сладить. Она кряхтела, сипела. Захлопнула дверь. Повернула в замке ключ, и дом остался запертый, замкнутый, тихий, один-одинешенек.

9

Дом был брошен; дом был оставлен. Был — как пустая мертвая раковина на песке, покрывающаяся соляной сыпью. Будто долгая ночь воцарилась; будто шалые ветерки, липкие веяния победили. Сковороды заржавели, и прогнили ковры. По комнатам ползали жабы. Праздно, бесцельно болталась шаль. Чертополох пробился между плитами в погребе. Ласточки свили гнезда в гостиной; по полу валялась солома; комьями падала штукатурка; оголились стропила; крысы рыскали за добычей и рвали ее за панелями; крапивницы, вылупившись из хризалид, до смерти бились об оконные стекла. Мак взошел среди далий; лужок колыхался высокой травой; гигантские артишоки громоздились меж роз; махровая гвоздика росла вперемешку с капустой; а вместо робкого постука кустов, зимними ночами в окно барабанили мощные ветки и колкий терновник; и летом вся комната теперь стояла зеленая.

Какая сила удержит нерасчетливое буйство природы? Привидевшаяся миссис Макнэб дама? Ребеночек, тарелка молочного супа? Солнечным зайчиком проскользнули они по стене — и ис-

чезли. Она заперла дверь; ушла. Одной женщине с этим не сладить, говорила она. Не писали. Не посылали. По ящикам сколько пропадает добра — надо же, как все побросали, говорила она. Все в негодность пришло. Только луч маяка заглядывал в комнату, бросал взгляд на кровать, на ослепшую зимнюю стену, равнодушно оглядывал чертополох, и ласточек, крыс, и солому. С ними уже не было сладу; им уже не было удержу. Пусть задувает ветер, обсыпается мак, пусть гвоздика растет вперемешку с капустой. Пусть ласточки гнездятся в гостиной, чертополох душит плиты, а на выцветшем ситчике кресел загорают репейницы. Пусть осколки стекла и фарфора валяются на кухне, опутанные сорной травой.

Потому что пришел тот миг, когда зябко дрожит неуверенная заря, когда ночь застывает, когда одно перышко может все перевесить. Одно-единственное перышко — и дом, обветшалый, осевший, рухнул бы, канул во тьму. В ободранных комнатах распивали бы чаи пикникующие, любовники бы там находили приют, обнимаясь на голых досках; пастух бы полдничал там на кирпичиках; и бродяга бы спал на полу, от стужи закутавшись в плащ. А там — провалилась бы крыша; терновник и болиголов заглушили бы

тропки, и ступени, и окна, так окутав курган, что заплутавший прохожий только по выглянувшим из крапивы факельным лилиям, по осколку фарфора, мелькнувшему в болиголове, догадался бы, что тут жили когда-то; был дом.

Упади это перышко, надави оно на чашу весов, и дом бы рухнул в пески забвенья. Но нашлась одна сила; вовсе уж не такая разумная; она кренилась, косилась; не вдохновлялась на подвиги торжественными обрядами и песнопениями. Миссис Макнэб стонала; миссис Бэст кряхтела. Обе были старухи; неповоротливые; у обеих болели ноги. Они наконец явились с ведрами, швабрами; и принялись за работу. Не взглянет ли миссис Макнэб, в каком состоянии дом? — ни с того ни с сего одна барышня собралась написать. Пожалуйста, сделай им то; пожалуйста, сделай им се. И главное, поскорей. Возможно, они летом приедут; оставили все до последнего; думали, как бросили, так и застанут. Медленно, тяжко, с ведром, со шваброй миссис Макнэб, миссис Бэст терли, скребли — и отвели запустенье и гибель; спасли из реки времен, сомкнувшейся было над ними, там миску, там шкаф; как-то утром выудили из забвенья все Уэверлеевы романы и чайный сервиз; как-то под вечер вытащили на волю, на

солнышко медную каминную решетку и железные каминные приборы. Джордж, сын миссис Бэст, ловил крыс и косил лужок. Призвали плотников. Будто принимались мучительно трудные роды, когда под скрип петель, скрежет болтов, стук, треск, гул, старухи разгибались, тянулись, кряхтели, пыхтели, пели, шлепали вверх-вниз, в погреба, на чердак. Ну, говорили они, работенка!

Чай пили когда в спальне, когда в кабинете; в полдень прерывали труды, с перепачканными лицами, тиская швабры в старых сведенных руках, плюхались в кресла и праздновали блистательную победу над ваннами, кранами; или более трудное, более сомнительное торжество над долгими рядами книг, из черных, как сажа, ставших бледно-пятнистым рассадником плесени и лукавым укрытием пауков. К глазам миссис Макнэб, согретой чайком, снова приладился телескоп, и она увидела в светлом кружке тощего, как кочерга, старого господина, он тряс головой, когда она проходила с бельем, видно, сам с собой разговаривал на лужке. Ни разу ее не заметил. Кто говорил — он умер; а кто говорил — она. Поди разберись. Миссис Бэст тоже толком не знала. Молодой господин — тот умер. Это она знала точно. В газете прочла.

А еще кухарка была — Милдред, Мэрион — както похоже; рыжая; раскричится, бывало, что с рыжей возьмешь, но добрая, если к ней подход иметь. Ох, и смеху у них бывало. И всегда сбережет тарелочку супа, мол, ешь; а то ветчины кусок; ну, что уж останется. Хорошая тогда жизнь была. Что душе угодно — все было (бойко, весело, согретая чайком, сидя в кресле перед камином в детской, она разматывала клубок воспоминаний). Работы хватало, в доме, бывало, гости живут, человек по двадцать за стол садятся, посуду, бывало, за полночь моешь.

Миссис Бэст (она их не знала; в Чикаго тогда жила), ставя чашку, подивилась, зачем это они голову кабана тут повесили? В чужих краях, видно, его подстрелили.

— И свободно может быть, — подтвердила миссис Макнэб, давая воспоминаниям волю; у них друзья были по разным восточным странам; и тут господа гостили, дамы в вечерних платьях; она один раз в столовую в дверь заглянула, а они за столом. Человек двадцать, не меньше, и все в драгоценностях, а ее позвали с посудой помочь, так она ее за полночь мыла.

Ах, сказала миссис Бэст, — увидят они: все тут стало другое. Она высунулась из окна. Посмотре-

ла, как ее сын Джордж косит траву. Спросят еще — как же так, мол? Ведь старый Кеннеди должен бы приглядеть за садом; да вот, как свалился тогда с телеги, совсем у него нога никуда; и целый год, не то почти целый, никого не было; а там — Дэви Макдональд, и семена-то, может, и слали, да поди теперь докажи, садили, нет ли? Все тут стало другое.

Она смотрела, как ее сын косит траву. Таких работа любит, спокойных таких. Ну, видно, пора опять за шкафы приниматься, — постановила она. И обе, кряхтя, поднялись.

Наконец после долгой уборки в доме, косьбы и вскопки в саду окна были отмыты, закрыты, все задвижки защелкнуты, заперта парадная дверь; все было готово.

И тогда-то из-под говора ведер и швабр, из-под стрекота газонокосилки высвободилась тихая мелодия, зыбкие звуки, которые, едва ухватив, ухо сразу роняет; блеянье, лай; неверные, рваные — связанные; жужжанье жуков, дрожь подкошенных трав — разлученные и все-таки сродные; дребезг навозника, визг колеса; громкие, тихие, но загадочно соотнесенные, которые ухо тщится связать и, кажется, вот-вот сложит в музыку, но они остаются всегда неразборчивыми, в музыку

не слагаются и потом, уже вечером, гаснут один за другим; распадаются; и падает тишина.

На закате уходила отчетливость, и падала, как туман, тишина, и тишина расползалась, и стихал ветер; мир, потянувшись, укладывался на ночь, укладывался спать, темный, не озаренный ничем, кроме зеленого, натекавшего сквозь листья сиянья да бледности белых цветов под окном.

(Как-то поздно вечером в сентябре Лили Бриско помогли добраться до дома с поклажей. Тем же поездом приехал и мистер Кармайкл.)

10

Ведь настал настоящий мир. Море несло весть о мире на берег. Спать, спать, оно говорило, все сбудется, что снилось сновидцам — святые, мудрые сны, — а что же еще говорило берегу море? — когда Лили Бриско, положив голову на подушку в чистой тихой комнате, услышала его. Сквозь растворенное окно краса вселенной упрашивала так тихо, что слов не разобрать, — да и надо ли, когда смысл без того ясен? — упрашивала шепотом спящих (дом снова был полон; приехали миссис Бекуиз и мистер Кармайкл), если уж не хочется им спускаться на берег, хоть откинуть шторы и выглянуть. И они бы увидели порфироносную ночь; в короне; и скипетр усеян алмазами; и ребенок ей может смотреть в глаза. Но раз все равно не хочется (Лили устала с дороги и заснула, едва положила голову на подушку, а мистер Кармайкл еще почитал при свече), раз все равно они говорят — нет, великолепие ночи химера, больше прав у росы, и важнее поспать; что ж, не споря, не жалуясь, голос пел свою песню. И тихо катились волны (Лили слышала их сквозь сон); лился ласковый свет (натекая под веки). И все в

точности так же, думал мистер Кармайкл, закрыв книгу и засыпая, так же, как когда-то давно.

Да, голос спокойно пел свою песню, покуда складчатая тьма смыкалась над домом, над миссис Бэкуиз, мистером Кармайклом и Лили Бриско, слоями, слоями черноты им завязывала глаза, голос пел — отчего не принять, не понять, не смириться, не угомониться? Вздохи разом всех волн, в лад бежавшие на острова, их утешали; ночь их окутывала; и ничто не нарушало сна, покуда не запели птицы, и рассвет вплел в свою белизну эти тоненькие голоса, и проскрипела телега, где-то собака залаяла, солнце откинуло занавес, черноту прорвало, и Лили Бриско во сне ухватилась за край одеяла, как, сверзаясь с кручи, хватаются за траву. Она широко раскрыла глаза. Вот я и здесь опять, подумала она, торчком садясь на постели, окончательно просыпаясь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МАЯК



1

Что происходит, что с нами происходит? — спрашивала себя Лили Бриско, раздумывая, следует ли ей, раз она осталась одна, сходить на кухню и налить себе еще чашечку кофе или лучше тут посидеть. «Что с нами происходит?» — затычка, просто-напросто фраза, подобранная в какой-то книжке, очень неточно передавала мысли Лили, но не могла же она в это первое утро у Рэмзи собраться с чувствами, и любая фраза годилась, только б прикрыть пустоту в душе, только б опомниться. Ведь, ей-богу, ну что она чувствовала, возвратясь сюда после всех этих лет, когда миссис Рэмзи уж нет в живых? Ничего, ничего — решительно ничего, о чем бы можно сказать.

Она приехала накануне, поздно, и все было загадочное и темное. А сейчас вот проснулась, встала и сидит на своем прежнем месте за завтраком — но только одна. И рано еще — нет восьми. Да, эта экспедиция — они ведь собрались на маяк — мистер Рэмзи, Кэм и Джеймс. Должны бы уже отправиться, хотели застать прилив, словом, что-то в этом роде. Но Кэм была не готова, Джеймс

не готов, а Нэнси забыла распорядиться насчет бутербродов, и мистер Рэмзи вскипел, выскочил из-за стола и бросился вон.

— Теперь какой смысл вообще?

Он бушевал.

Нэнси исчезла. Вот он — мечется взад-вперед по садовой террасе — возмущенье само. По всему дому, кажется, хлопают двери, летают голоса. Нэнси вбежала, спросила, окинув комнату странным, диким, отчаянным взглядом: «Что посылают на маяк?», будто принуждала себя делать что-то, на что заведомо неспособна.

Да, действительно, что посылают на маяк? В любое другое время Лили присоветовала бы трезво — чай, газеты, табак. Но сегодня все казалось до того странно, что вопрос Нэнси «Что посылают на маяк?» толкал какую-то дверцу в душе, и она хлопала, билась и заставляла переспрашивать ошарашенно: что посылают? Что делают? И я-то чего тут сижу?

Она сидела одна (Нэнси снова исчезла) среди чистых чашек за длинным столом и чувствовала себя от всех отрезанной, ни на что не годной — только дальше смотреть, и спрашивать, и удивляться. Дом, сад, утро — все стояло на себя непохожее. Все было чужое и чуждое, она чув-

ствовала — что угодно может произойти, и все, что происходило: шаги под окном, голос («Да не в шкафу же, на лестнице!»), отдавало вопросом, будто не стало крепи, державшей привычные вещи, и все сместилось, поддалось и рассыпалось. Как все бесцельно, путано, как непонятно, думала она, заглядывая в пустую кофейную чашечку. Миссис Рэмзи умерла; Эндрю убит; Пру умерла тоже, — повторяй не повторяй — в душе никакого отклика. А мы вот снова тут вместе, в таком доме, в такое утро, — сказала она и выглянула в окно, и был ясный и тихий день.

Вдруг мистер Рэмзи, проходя, поднял голову и глянул прямо на нее своим диким, застланным взглядом, который, однако, видел тебя насквозь, в секунду, будто впервые и навсегда; и она отпила из пустой чашки, чтоб от него уклониться, уклониться от его требовательности, отвратить это властное посягательство. И он тряхнул головой и зашагал дальше («одинок», — услышала она, и «гибли» — услышала она)[21], и как все вообще в это странное утро, слова стали символом, написались на серо-зеленых стенах, и если бы

[21] Примечания: 21

отрывистые, отдельные слова из стихотворения «Отверженный», написанного английским поэтом Уильямом Купером (1731–1800) после смерти любимой женщины

только сложить их, выписать в связную фразу, она добралась бы до сути вещей. Старый мистер Кармайкл тихонько прошлепал мимо, налил себе кофе, взял чашку и отправился греться на солнышке. Удивительная нереальность пугала, но все было до того волнующе! Экспедиция на маяк. Что посылают на маяк? Гибли! Одинок! Серо-зеленый свет на стене напротив. Пустые места. Все — отдельно, и как собрать воедино? От малейшей помехи рухнуло бы хрупкое сооружение, которое она возводила перед собой на столе, и она отвернулась от окна, чтобы мистер Рэмзи ее не видел. Надо укрыться, спрятаться, надо побыть одной. Вдруг она вспомнила. Когда она десять лет назад тут сидела, был какой-то листочек, не то кустик в плетении скатерти, и на него она глянула в миг озарения. Насчет фона картины. Передвинуть дерево к центру, тогда сказала она себе. И вот — картину так и не кончила. И все годы это гвоздем сидело в душе. Теперь-то она кончит картину. Где краски? Краски — ах да. Она же вчера их в прихожей оставила. И пора за работу. Она поскорее встала, пока мистер Рэмзи не повернул.

Она себе вынесла стул. По-стародевичьи аккуратно поставила мольберт на краю лужка, не слишком близко к мистеру Кармайклу, но и не

чересчур далеко, чтоб быть у него под крылышком. Да, кажется, именно тут она десять лет назад и стояла. Стена; изгородь; дерево. Соотношение масс. Мысль гвоздила все эти годы. И вот, кажется, решение найдено; итак — за работу.

Но на нее несся мистер Рэмзи, и невозможно было работать. Всякий раз, когда он надвигался — он ходил взад-вперед по террасе, — надвигалось разрушение, хаос. И невозможно было писать. Уж она наклонялась, она отворачивалась; хваталась за тряпку; выжимала краску. Чтобы только отразить его натиск. При нем невозможно было работать. Дай она ему хоть чуточную зацепку, на секунду покажись ему праздной, только глянь в его сторону — и ведь он же накинется, он скажет, как сказал вчера вечером: «Мы теперь, как видите, далеко не те». Вчера вечером он встал, застыл перед нею и это сказал. И хоть шестеро детей (их, было дело, еще прозвали когда-то на манер английских королей и королев: Рыжий, Прекрасная, Непослушная, Беспощадный…) ни звука не проронили, видно было, что они негодуют. Миссис Бекуиз, добрая старушка, что-то сказала, как-то нашлась. Но в доме бурлили скрытые страсти, весь вечер Лили чувствовала — в доме неладно. И в довершение всего мистер Рэмзи встал, сжал ей

руку, сказал: «Вы, разумеется, видите, мы теперь далеко не те», — и никто ни звука не проронил, никто не шелохнулся, но по лицам было видно, какая для них мука это выслушивать. Только Джеймс (без сомнения, Хмурый) грозным взором наградил лампу; а Кэм наматывала на палец платочек. Далее мистер Рэмзи обоим напомнил, что завтра они собрались на маяк. Им надлежит быть в прихожей, в полной готовности, ровно в половине восьмого. И — замер, держась за дверную ручку, и опять повернулся. Так хотят они на маяк или нет? — спросил он. Попробуй они ответить «нет» (у него были свои резоны нарываться на это), и он бы рухнул трагически в горькие воды отчаяния. Редкий талант позированья. Король в изгнании — да и только. Но Джеймс упрямо сказал: «Да». Кэм более жалостно выдавила: ах, ну, да, оба они будут готовы. И Лили подумалось — вот вам трагедия — не пелены, не прах и не склепы; насилие над детьми, над их душами. Джеймсу уже, наверное, шестнадцать исполнилось. Кэм, надо думать, семнадцать. Кэм поискала глазами кого-то, кого не было в комнате, миссис Рэмзи, по-видимому. Нет, только старая миссис Бекуиз шелестела под лампой своими акварельками. Но уже побеждала усталость, мысли вздувались и

опадали вместе с волнами, одолевали знакомые запахи, какими всегда все места нас встречают после долгой разлуки, и дрожало пламя свечей, и она растворилась, она провалилась. Была дивная ночь; вызвездило; море шуршанием их провожало по лестнице; месяц, странно огромный, бледный, подстерегал подле лестничного окна. Заснула она мгновенно.

Она твердой рукой водрузила на мольберт чистый холст, как экран — зыбкую, но, она надеялась, достаточную защиту от мистера Рэмзи, от его посягательств. Она изо всех сил старалась, когда он ей поворачивал спину, вглядываться в картину; в эти линии; эти цвета. Но — какое! Положим, он в двадцати шагах, положим, с тобою не разговаривает, даже на тебя не глядит — а все равно подавляет, гнетет, наседает. При нем все иначе. Она не видела красок; не видела линий; даже когда он ей поворачивал спину, она только и думала: сейчас подойдет. И будет вымогать что-то, чего она не в силах ему дать. Она откладывала кисть; хватала другую. Когда уж явятся эти дети? Когда уж они все отбудут? Она дергалась. Этот человек, думала она с накипающей злостью, никогда не дает; он берет. А ее вот заставляет давать. Миссис Рэмзи — та вечно давала. Давала,

давала — и умерла; и все это оставила. Хороша же и миссис Рэмзи. Кисть дрожала в руке у Лили, и она смотрела на изгородь, на окно, на стену. А все миссис Рэмзи. Умерла. А Лили, в свои сорок четыре, теряет тут время, совершенно не может работать, стоит и играет в живопись, в то единственное играет, во что не играют, и все виновата миссис Рэмзи. Умерла. Ступеньки, на которых она сиживала, пусты. Умерла.

Но что толку повторять одно и то же, снова и снова? Что толку вечно ворошить чувства, которых нет в тебе? Ведь это, в общем, кощунство; все иссохло; увяло; расточено. И зачем они ее пригласили? Зачем она сюда притащилась? Когда тебе сорок четыре, нечего время терять. Это отвратительно — играть в живопись. Кисть — единственно надежная вещь в мире раздоров, разрушения, хаоса — и нельзя ею играть, тем паче сознательно. Просто противно. А он заставляет. Он будто говорит, несясь на тебя: не прикасайся к холсту, пока не дала мне того, что мне необходимо. Вот он — снова тут как тут — жадный, дикий. Ладно, подумала Лили, роняя правую руку вдоль тела, уж проще отделаться. И неужто нельзя по памяти воспроизвести то сиянье, тот пыл, растворенность, которых она на многих женских лицах

понавидалась (например, на лице миссис Рэмзи), когда они в подобных случаях воспламенялись — она помнила лицо миссис Рэмзи — жаром сочувствия, предвосхищеньем той высшей, блаженной награды, которая, хоть ей лично этого — увы — не понять, очевидно, только и дарована душе человеческой. Вот он — остановился рядом. И надо выжать из себя все, что возможно.

2

Она несколько скукожилась, он подумал. Чересчур, может быть, субтильная, хлипкая, но, в общем, не лишена обаяния. Вполне ничего. Поговаривали одно время, будто она выходит за Уильяма Бэнкса, но как-то это расстроилось. Жена ее любила. За завтраком он, кажется, немного вспылил. Но вот, но вот — настал один из тех моментов, когда неодолимая сила (он сам не понимал, что такое) толкала его к любой женщине, чтобы вынуждать, — уж не важно как, чересчур эта сила была велика, — то, в чем он нуждался: сочувствие.

Она не очень заброшена? — спросил он. Ни в чем не терпит нужды?

— О, решительно ни в чем, благодарю вас, — ответила Лили Бриско нервозно. Нет; это не для нее. Ей бы сразу ринуться в волны болтливой отзывчивости. Он так наседал. Но ее парализовало. Последовала невозможная пауза. Оба смотрели на море. И зачем, думал мистер Рэмзи, зачем смотреть на море, когда я рядом стою? Она надеется, сказала она, их не будет качать по пути на маяк. Маяк! Причем тут маяк! — он подумал в сердцах.

И тотчас некий первобытный порыв (нет, он не мог больше сдерживаться) исторг из души его стон, после которого любая, любая бы женщина что-то сделала, что-то сказала, любая, но только не я, думала Лили, нещадно себя костеря, и наверное, я не женщина вовсе, а брюзгливая, вздорная, очерствелая старая дева.

Мистер Рэмзи завершил свой вздох. Он ждал. Неужто она так ничего и не скажет? Неужто не видит, чего ему от нее нужно? Далее он сообщил, что на маяк его влечет неспроста. Жена всегда посылала туда разные разности. Там был мальчик, бедняжка, с туберкулезом бедра. Сын смотрителя. Он вздохнул глубоко. Вздохнул со значением. Лили об одном мечтала, чтоб этот бездонный поток тоски, неутолимую жажду сочувствия, эту потребность всецело ее подмять, отнюдь не расставшись с запасами горя, которых ей по гроб жизни хватило бы, чтоб все это пронесло, отвело (она поглядывала на дом, в надежде, что им помешают), пока ее не сшибло, не засосало течением.

— Такого рода экспедиции, — сказал мистер Рэмзи, носком ботинка вскапывая лужок, — ужасно мучительны.

И опять Лили ничего не сказала. (Льдышка, бревно, думал он.)

— Они отнимают последние силы, — сказал он и страждущим взором, от которого ее тошнило (он актерствует, она чувствовала, великий человек ломает комедию), глянул на свои прекрасные руки. Отвратительно. Неприлично. Когда же наконец они явятся? — думала она, не в состоянии выдерживать груз безмерного горя, тяжкий навес тоски (он принял вдруг позу немощной дряхлости, буквально пошатывался чуть-чуть), нет, ни секундой дольше!

Но она ничего не могла из себя выдавить (до самого горизонта будто вымело все, за что можно бы уцепиться) и лишь с изумлением чувствовала, что скорбный взор мистера Рэмзи обесцвечивает сиянье травы, а на румяного, сонливого, безмятежного мистера Кармайкла, устроившегося с французским романом в шезлонге, набрасывает траурный флер, словно демонстрация благополучия посреди вселенских скорбей достойна самых мрачных соображений. Взгляни на него, как бы говорил он, и взгляни на меня; а на самом-то деле в нем все время кипело: думай обо мне, думай обо мне, думай обо мне. Ох, если бы эту глыбу к ним притянуло поближе! Поставить бы мольберт хоть на метр поближе к нему! Мужчина, любой мужчина отвел бы это извержение, предотвра-

тил эти сетования. Женщина — вот и навлекла такой ужас; женщине — ей бы и знать, как с ним управляться. Стыд — позор, что она тут стоит и молчит. В таких случаях говорят — да, что говорят? — ах, мистер Рэмзи, милый мистер Рэмзи! Благовоспитанная старая дама с акварельками, эта миссис Бекуиз — та бы в секунду нашлась и сказала все, что положено. Но нет. Они стояли рядом, отрезанные от всего человечества. Его безграничная жалость к себе, потребность в сочувствии лужей растекалась у нее под ногами, а она, жалкая грешница, только и делала, что слегка подбирала юбки, чтоб не промокнуть. Она стояла в полном молчании и тискала кисть.

Вот уж поистине слава благим небесам! В доме послышался шум. Сейчас явятся Кэм и Джеймс. Но мистер Рэмзи, будто спохватившись в цейтноте, напоследок изо всех сил обрушил на нее, беззащитную, свое лютое горе; свою старость; сирость; беспомощность; как вдруг, тряхнув головой в досаде, — ведь в конце концов женщина она или нет! — он заметил, что у него на ботинке развязался шнурок. А ботинки, кстати, у него поразительные, подумала Лили, опуская взгляд: будто изваянные; колоссальные; и, как и все, что на мистере Рэмзи, от протертого галстука до

полурасстегнутого жилета, никому другому принадлежать они не могли. Она так и видела, как сами собой они удаляются к нему в кабинет, даже в его отсутствие полные пафоса, брюзгливости, гнева и очарования.

— Какие чудные ботинки! — выпалила она. И устыдилась. Хвалить ботинки, когда тебя призывают целить душу! Когда тебе показали кровоточащие руки, истерзанное сердце и молят о жалости — вдруг прочирикать жизнерадостно: ах, да какие же чудные ботинки! — за это она заслужила (и уже ожидала — в виде раскатов гнева) совершенного уничтожения.

Мистер Рэмзи вместо этого улыбнулся. Пелены гробовые и немощность — все как рукой сняло. Да-да, сказал он, задирая ногу, чтоб ей удобнее было смотреть, ботинки первоклассные. Один-единственный человек во всей Англии тачает такие ботинки. Ботинки — чуть не серьезнейший бич человечества, сказал он. «Сапожники считают своим долгом, — вскричал он, — истязать и увечить человеческую стопу». К тому же они — сама зловредность и упрямство. Лучшие годы юности он убил на то, чтоб ботинки были ботинками. Вот, пусть она удостоверится (он задрал правую, потом левую ногу), она еще не видывала

ботинок такого фасона. И вдобавок превосходная кожа. Обычно ведь это не кожа — оберточная бумага, картонка. Он с удовлетворением озирал свою все еще поднятую ногу. Они достигли, она почувствовала, осиянного острова, где разум царит, и покой, и незакатное солнце, благословенного острова прекрасных ботинок. Ее сердце смягчилось. «Ну-с, а теперь поглядим, способны ли вы завязать узел!» — сказал он. Он презрел ее наивный способ. Продемонстрировал собственное изобретение. Если так завязывать — в жизни не развяжется. Он трижды зашнуровал ей туфли; трижды расшнуровал.

Но почему же в самый неподходящий момент, когда он наклонялся над ее туфлей, ее так кольнула жалость, что, тоже наклонясь, вся покраснев и думая о собственном жестокосердии (ведь называла актеришкой), она ощутила едкое пощипыванье в глазах? За этим занятием он вдруг показался ей до невозможности трогательным. Завязывает узлы. Покупает ботинки. Никто не помогает ему в трудном его путешествии. И вот, когда она уже хотела что-то сказать, уже наверное что-то сказала бы — они явились — Кэм и Джеймс. Показались на террасе. Плелись рядышком, торжественной, унылой четой.

Но почему надо *так являться*. Ей было досадно; могли бы и повеселее явиться; могли бы дать ему то, что теперь, из-за них, она лишилась возможности ему дать. Она вдруг опустела вся; иссякла. Слишком поздно; вот — расчувствовалась; а ему уже и не надо. Он сразу сделался достойнейшим пожилым господином, которому она решительно не нужна. Она получила по носу. Он взвалил на плечи рюкзак. Распределил свертки — много свертков, неаккуратных, в оберточной бумаге. Отправил Кэм за плащом. Все как водится — предводитель снаряжает экспедицию в путь. Затем, сделав полный поворот кругом, твердой военной поступью, в своих неотразимых ботинках, навьюченный неаккуратными свертками, он двинулся по тропе в сопровожденье детей. Вид у них был такой, будто судьба обрекает их жестокому испытанию, и они покоряются, и лишь по молодости лет принуждены безропотно плестись за отцом; но в помертвелых взглядах она читала немое страдание — не по возрасту. Вот обогнули лужок, и Лили словно проводила глазами процессию, спотыкающуюся, вялую, но идущую бичевою общего чувства, и оно их сбивало в крошечный единый отряд, и это производило до странности сильное впечатление. Учтиво и

вполне отчужденно мистер Рэмзи взмахнул на прощанье рукой.

Но какое лицо! — подумала она, и тотчас сочувствие, которого уже от нее не требовали, мучительно запросилось наружу. Что сделало это лицо таким? Неустанные ночные раздумья, — решила она, — о сущности кухонных столов, — уточнила она, вспомнив символ, с помощью которого Эндрю просветил ее по части раздумий мистера Рэмзи (его же, — стукнуло сердце — убило на месте осколком гранаты). Кухонный стол — нечто призрачное, возвышенное; нечто голое, твердое; не живописное. Он не имеет окраски; только углы и линии; он безоговорочно прост. И мистер Рэмзи, вперив в него взор, не позволял себе отвлекаться, рассеиваться, покуда лицо его не стало подвижническим, изможденным, не стало отдавать той неживописной красотой, которая так задела ее. Но, однако, она вспомнила (она так и стояла, одна, с кистью в руке), его бороздили терзания — уже не столь благородного свойства. Наверное, ему сомнения являлись насчет этого стола; реальный ли это стол; и стоило ли на него убивать столько времени; и способен ли он в конце концов его распознать. Его одолевали сомненья, иначе не стал бы он так наседать

на людей. Вот, видно, о чем они рассуждали за полночь, а наутро миссис Рэмзи выглядела измученной, а Лили возмущалась мистером Рэмзи из-за форменных пустяков. А теперь ему не с кем поговорить о столе; о своих узлах; о ботинках; теперь он как лев, высматривающий добычу, и на лице утвердилось отчаяние, и надрыв, который поверг ее в страх и заставил подбирать юбки. А потом, она вспомнила, — вдруг это оживление, трепет (когда она похвалила ботинки), вдруг это исцеление, живость, интерес к человеческим обычным вещам, и опять все прошло, изменилось (он непрестанно менялся и ничего не скрывал), преобразилось в последнюю стадию, неожиданную для Лили, и, надо признать, она устыдилась своей раздражительности, когда он, будто стряхнув заботы, амбиции, потребность в сочувствии, жажду похвал, ступил на иную какую-то землю и, будто движимый любопытством, поглощенный немым разговором, с собою ли или с кем-то другим, во главе своего крошечного отряда потянулся туда, где его не догнать. Удивительное лицо! Хлопнула калитка.

3

Вот и ушли, подумала она и вздохнула — облегченно и горько, Растрогалась и сама получила по носу, как бьющей с отскока колючей веткой. Ее будто надвое разорвало — одна часть тянулась туда, где было дымчатое, тихое утро; и маяк стоял в необычной дали; а другая упрямо, строптиво застряла тут, на лужке. Она увидела холст — он как взмыл и, белый, неумолимо навязывался взгляду. И холодною белизною корил за все эти дерганья и треволненья; за зряшную трату эмоций; он призывал к порядку; и, покуда расстроенные чувства Лили (вот, ушел, и так его жаль, а она ничего не сказала) покидали в смятении поле, устанавливал в сознании мир; а потом была пустота. Лили бессмысленно смотрела на холст, на его беспощадную белизну; потом оглядела сад. Да, было что-то такое (она стояла — личико с кулачок — и щурила свои китайские глазки) в соотношении этих смутно текучих, одна другую подсекающих линий и этой массы изгороди, топящей в зеленых провалах темень и синь, — что-то такое, что засело в сердце; узелком завязалось; и ни с того ни с сего, бредя ли по Бромптон-роуд, расчесывая

ли волосы, вдруг она возвращалась к картине, сочиняла ее, окидывала взглядом, подкапываясь под воспоминание, старалась узелок развязать. Но одно дело — безответственно носиться с идеями вдалеке от холста, и совсем-совсем другое — взяться за кисть и сделать первый мазок.

Разнервничавшись из-за того, что рядом мистер Рэмзи, она схватила не ту кисть и сгоряча всадила в землю мольберт под неверным углом. Теперь, поправив его и тем временем выбросив из головы разную чушь, которая засоряла внимание и уводила мысли к тому, что она за персона и какие у нее отношенья с людьми, — она вся подобралась и занесла руку. Мгновенье кисть жадно дрожала в воздухе, мучая и раззадоривая душу. С чего начать — вот в чем вопрос; где провести первый мазок? Один-единственный нанесенный на холст мазок толкает на безоглядный риск, ряд быстрых невозвратных решений. Все, что казалось простым, пока мы пробавлялись теориями, на деле оборачивается головоломной сложностью; так волны, ровно бегущие, если смотреть с вершины утеса, пловца бросают в сосущие бездны и окатывают кипением гребней. Но риска не избежать; от мазка не уйти.

Со странным физическим ощущением, будто

ее сзади толкают, а надо удерживаться, она нанесла первый быстрый, решительный штрих. Кисть опустилась; темно мелькнула на белом холсте; оставила беглый след. Потом еще раз и третий. И вот мельканья и паузы образовали танцующий ритм, где пауза — первый такт, мелькание — второй и все нераздельно слилось; и так, легко, быстро, замирая, мелькая, кисть пошла штриховать холст текучими, темными линиями, и, едва на него ложась, они замыкали зияющее пространство (оно надвигалось на Лили). Снизу, со впадины одной волны, она уже видела, как все выше и выше над нею вскипает другая. Что есть на свете беспощадней, чем это пространство? Ну вот, — думала она, отступя и оглядывая его, — опять ее оттащило от болтовни, от жизни, от человеческой общности и кинуло в лапы извечного ворога — этого иного, той правды, реальности, которая прячется за видимостями и вдруг лезет из глубины на поверхность и делается наваждением. Хотелось упереться, не даться. Зачем ее вечно оттаскивает и несет? Оставили бы в покое, мирно болтать с мистером Кармайклом на солнышке. Так нет же. Во всяком случае, изнурительная форма общения. Другим объектам обожания — тем обожание и подавай;

мужчины, женщины, Бог — перед теми только ниц и распластывайся. А здесь! Да образ белого абажура, нежно витающий над плетеным столом — и тот ведь зовет на бой, толкает на битву, в которой тебе заведомо суждено пораженье. Вечно (то ли у нее характер такой, то ли женская природа такая) прежде чем текучесть жизни застынет сосредоточенностью работы, на минуты какие-то она себя ощущает голой, как душа нерожденная, как с телом расставшаяся душа, беззащитно дрожащая на юру, под ветрами сомнений. Так зачем это все? Она смотрела на холст, тронутый беглыми линиями. В комнате для прислуги повесят. Скатают рулоном и ткнут под диван. Так зачем же, зачем? А чей-то голос нашептывал: не владеешь кистью, никуда не годна, и тут ее засосало одним из потоков, с которыми со временем так свыкается память, что слова повторяешь, уже не соображая, кто их первый сказал.

Не владеешь кистью, не владеешь пером, бубнила она механически, озабоченная планом атаки. Масса перед нею зияла; выпирала; давила на глазные яблоки. Потом будто брызнул струею состав, необходимый для смазки способностей, она наобум стала шарить между синим и умброй; тыкать кистью туда-сюда, но кисть отяжелела,

замедлилась, сдалась ритму, который диктовало увиденное (Лили смотрела на изгородь, смотрела на холст), и — дрожи не дрожи нетерпеньем рука, ритм этот пересиливал и вел. Она несомненно утратила связь с окружающим. Она все забыла, забыла кто она, как ее зовут, и как она выглядит, и есть тут мистер Кармайкл или нет его, а сознание тем временем выуживало из глубины имена, и слова, и сцены, и мысли, и они били фонтаном над слепящим, омерзительно неодолимым белым пространством, которое она укрощала зеленой и синей краской.

Это же Чарльз Тэнсли говорил, она вспомнила, женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Подойдет сзади и станет над душой, бывало, — просто несчастье — когда она работала на этом самом месте. «Махорка», — говорил. «Экономия на куреве». Бедностью своею кичился и принципами. (Но война умерила ее феминизм. Бедные-бедные, думала она о мужчинах и женщинах одинаково. Такого хлебнули.) Он вечно таскал с собой книжку — фиолетовую такую. «Работал». Усаживался, помнится, работать на солнцепеке. За ужином вечно усаживался, в точности надвое перегораживая вид. Но было же, она вспомнила, то утро на берегу. Об этом нельзя

забывать. Было ветрено. Все спустились на берег. Миссис Рэмзи, устроившись возле камня, писала письма. Писала, писала.

— Ой, — вдруг сказала она, оторвав глаза от письма и увидев что-то, колышущееся в волнах, — это что? Верша для омаров? Или лодка перевернулась?

Ужасно была близорука. И вдруг Чарльза Тэнсли как подменили. Он сделался неслыханно мил. Стал учить Лили бросать камушки. Они отыскивали плоские черные камушки и пускали вскачь по волнам. Миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков и смеялась. Ни слова не вспомнить из того, что говорилось тогда, просто они с Чарльзом бросали камушки и невероятно друг к другу расположились, а миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков. Вот уж это запомнилось. Миссис Рэмзи! — она подумала, отступя и сощурясь. (Совсем бы другое дело, если бы под окном сидели миссис Рэмзи и Джеймс. Как бы там пригодилась тень…) Миссис Рэмзи! Все это — бросание камушков с Чарльзом, вообще вся сцена на берегу, как-то определялось тем, что миссис Рэмзи сидела у камня с бумагой на коленях и писала письма. (Тьму писем писала, и вдруг их выхватывал ветер, они с Чарльзом даже выуди-

ли один листок из воды.) Но какою же властью наделена душа человеческая! — она подумала. Эта женщина, сидевшая возле камня и писавшая письма, умела все так просто решить; развеять неприязнь, раздражение, как ветхие тряпки; взболтать то, се, другое и превратить несчастную глупость и злость (их стычки и препирательства с Чарльзом были ведь злобны и глупы) во что-то такое — ну, как та сцена на берегу, мгновенная дружба, расположенье, — что одно и оставалось живым во все эти годы, и меняло ее представленье о Чарльзе и отпечатывалось в памяти, почти как произведенье искусства.

— Как произведенье искусства, — повторила она, переводя взгляд с холста на окно и обратно. Надо чуть-чуть отдохнуть. И пока она отдыхала, переводила с одного на другое отуманенный взгляд, старый вопрос, вечно витающий на небосводе души, огромный и страшный, который вот в такие минуты роздыха особенно настоятелен, встал перед нею, застыл и все застил. В чем смысл жизни? Вот и все. Вопрос простой; вопрос, который все больше тебя одолевает с годами. А великое откровение не приходит. Великое откровение, наверное, и не может прийти. Оно вместо себя высылает маленькие вседневные чудеса,

озаренья, вспышки спичек во тьме; как тогда, например. То, се, другое; они с Чарльзом и набегающая волна; миссис Рэмзи, их примирившая; миссис Рэмзи, сказавшая: «Жизнь, остановись, постой»; миссис Рэмзи, нечто вечное сделавшая из мгновенья (как, в иной сфере, Лили сама пытается сделать нечто вечное из мгновенья). И вдруг, посреди хаоса — явленный образ; плывучесть, текучесть (она глянула на ток облаков, на трепет листвы) вдруг застывает. «Жизнь, остановись, постой!» — говорила миссис Рэмзи.

— Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — повторяла она.

И этим откровением она обязана ей.

Все было тихо. В доме — ни звука, ни шороха. Дом дремал на утреннем солнышке, и окна прикрыты зеленым и синим отраженьем листвы. Смутные мысли о миссис Рэмзи были в согласии с тихим домом; с дымом; с тихим ясным деньком. Смутный и зыбкий, он был поразительно свеж и странно бодрил. Только б никто не открыл окно, не вышел бы из дому, только бы ее оставили в покое, дали подумать, дали спокойно работать. Она повернулась к холсту. Но любопытство ее подтолкнуло и неизрасходованное сочувствие, и она прошла несколько шагов до другого края

лужка — взглянуть, если получится, как там они поднимают парус. Внизу, среди лодок, с убранными парусами качавшихся на волнах или тихо — ведь было безветрие — скользивших прочь, одна держалась несколько в стороне от других. И как раз поднимала парус. И Лили поняла, что в той дальней, совершенно беззвучной лодке сидит мистер Рэмзи с Джеймсом и Кэм. Парус подняли; он было дрогнул, поник, но вот вздулся, и, окутанная плотной немотой, лодка решительно, мимо других, устремила свой путь в море.

4

Над головами хлопали паруса. Вода урчала и шлепалась о борта лодки, сонно подставлявшейся солнцу. Иногда паруса рябило ветерком, но тотчас рябь пропадала. Лодка не двигалась. Мистер Рэмзи сидел посреди лодки. Сейчас он взорвется, думал Джеймс, и Кэм думала то же, глядя на отца, который сидел посреди лодки между ними (Джеймс правил; Кэм сидела одна на носу), поджав под себя туго сплетенные ноги. Он ненавидел проволочки. И конечно, он кипел-кипел, а потом сказал резкость Макалистеру-внуку, и тот взялся за весла и стал грести. Но они-то знали, отец не уймется, пока они не полетят по волнам. Будет ждать ветра, будет дергаться, что-то буркать сквозь зубы, и Макалистер с внуком услышат, а они оба будут сгорать со стыда. Он взял их с собой насильно. Принудил. От злости они уже хотели, чтоб ветер никогда не поднялся, чтоб ничего у него не вышло, раз он взял их насильно с собой.

Пока спускались к берегу, они все время тащились сзади, хоть он без слов им приказывал: «Живее, живее». Они шли, понурив головы, свесив головы, шли — как напролом, против

нещадного вихря. Что они могли сказать? Надо так надо. Они и шли. Шли за ним и волокли эти дурацкие свертки. Но молча клялись на ходу держаться вместе и насмерть стоять против тиранства. Так они и сидели на разных концах лодки, в полном молчании. Ни слова ему не сказали. Только поглядывали на него, как он сидит, сплетя ноги, хмурится, дергается, бурчит, фукает и ждет ветра. И надеялись, что ветра не будет. Что ничего у него не выйдет. Что ничего не выйдет из этой его экспедиции и они со всеми своими свертками полезут обратно на берег.

Но вот Макалистер-внук прогреб немного, и парус поймал ветер, лодка нырнула, круто повалилась набок и понеслась вперед. Мигом, будто освободясь от ужасного груза, мистер Рэмзи расплел ноги, вытащил кисет, хмыкнув, протянул Макалистеру и явно почувствовал себя, несмотря на все их страданья, совершенно ублаготворенным. И теперь они были обречены плыть часами, пока мистер Рэмзи будет расспрашивать старого Макалистера — возможно, про страшную бурю прошлой зимой, — а старый Макалистер — отвечать, и оба — попыхивать трубкой, и Макалистер будет теребить смоленый канат, завязывать узлом и развязывать, а внук будет удить и рта не

раскроет. Джеймсу придется глаз не спускать с паруса, и только он зазевается, парус будет дрожать, и лодка — сбавлять ход, и мистер Рэмзи — рявкать: «Смотреть! Смотреть!», а старый Макалистер — медленно поворачиваться на сиденье. И вот они услышали, как мистер Рэмзи расспрашивает про страшную бурю на Рождестве. «Сносит ее от мыса», — говорил старый Макалистер, рассказывая о страшной буре на Рождестве, когда десять посудин загнало в бухту, он сам видел — «одна вон там, одна вон там, а одна во-о-она где». (Он медленно обводил указательным пальцем бухту. Мистер Рэмзи вертел головой вслед за пальцем.) Он сам, он своими глазами видел, трое в мачту вцепились. Ну, и потонула она. А потом, рассказывал старый Макалистер (но в своей ярости, в своем молчании они ловили только отдельные слова, сидя по разным концам лодки, связанные договором насмерть стоять против тиранства), потом они вывели, значит, шлюпку спасательную, вывели за мыс, рассказывал Макалистер; и хоть они ловили только отдельные слова, они все время, все время замечали, как отец наклонился вперед, как настроил голос в лад голосу Макалистера и как, попыхивая трубкой, он поглядывает туда-сюда, куда показывает Макалистер; и они

в себе чувствовали, как ему нравится эта буря, и темная ночь, и борьба рыбаков. Ему нравится, чтоб мужчины потели и бились ночью на ветреном берегу, надсаживаясь и борясь против ветра и волн; ему нравится, чтоб так трудились мужчины, а жены чтоб хлопотали по дому и сидели подле спящих детей, покуда мужья погибают в волнах. Джеймс это чувствовал, и Кэм это чувствовала (они поглядывали на него, потом друг на друга) по тому, как он слушал, смотрел, и по его голосу, и по легкому шотландскому акценту, который вдруг у него появился, так что сам он стал похож на крестьянина, когда расспрашивал Макалистера про одиннадцать посудин, которые бурей загнало в бухту. Три потонуло.

Он гордо поглядывал туда, куда показывал Макалистер; и Кэм им гордилась и думала, почему — неизвестно, что окажись он там, он тоже был бы на спасательной шлюпке, и он подоспел бы к месту крушения, думала Кэм. Он такой смелый, такой отважный, думала Кэм. Но тут она вспомнила. Был договор: насмерть стоять против тиранства. Угнетала обида. Их вынудили; ими командовали. Опять он их придавил, подавил своей скорбью и властью и заставил ему в угоду в такое прекрасное утро тащиться со всеми этими

свертками на маяк; принимать участие в этих его ритуалах в честь мертвых, которые он справляет ради собственного удовольствия. А им эти ритуалы претили, и они все время от него отставали на берегу, и прекрасное утро было безнадежно испорчено.

Да, бриз бодрил. Лодка клонилась набок, остро рубила воду, и вода взлетала зелеными вихрями, пузырями, каскадами. Кэм загляделась вниз, в пену, в море со всеми его сокровищами, и скорость ее завораживала, и узы между нею и Джеймсом чуть ослабли. Провисли чуть-чуть. Она стала думать: как быстро летим. И куда? — и движение ее завораживало, а Джеймс тем временем мрачно правил и не отрывал глаз от паруса. Но, правя, он уже говорил себе, что надо сбежать; надо бросить все это. Вдвоем где-нибудь высадиться; освободиться. Переглянувшись, оба они — из-за скорости этой, из-за перемены — вдруг ощутили восторг. Но бриз то же самое возбужденье нагнал и на мистера Рэмзи, и едва старый Макалистер отвернулся, чтоб забросить за борт лесу, он выкрикнул громко: «Мы гибли!» и еще: «Каждый одинок!»[22] А потом, после обычного своего па-

---

[22] Примечания: 22
из стихотворения Уильяма Купера «Отверженный»

роксизма раскаяния, не то смущенья, он помахал рукой в сторону берега.

— Взгляни на домик, — сказал он, и он хотел, чтобы Кэм посмотрела. Она нехотя распрямилась и глянула. Но где же? Она уже не могла разобрать, где там на горке их дом. Все было дальнее, мирное, странное. Берег, подернутый далью, стал новым и нереальным. Совсем немного пролетели они по волнам, а берег стал уже чем-то другим, уходящим и тающим, чему уже нет до них дела. Где их дом? Она не могла разобрать.

— Но он не знал, в какой волне[23], — бормотал мистер Рэмзи. Он нашел дом и, увидев его, увидел там и себя; увидел, как он бредет по садовой террасе, бредет одиноко. Он бродил взад-вперед между урнами; и он себе показался страшно старым и сгорбленным. Сидя в лодке, он сгорбился, скорчился, тотчас вошел в роль — роль одинокого, вдового, всеми покинутого; и вызвал тотчас в виденьях сонм соболезнующих; тут же, сидя в лодке, поставил небольшую трагедию; требовавшую от него дряхлости, истомленности и печали (он поднял к лицу и разглядывал свои убедительно, неопровержимо тощие руки), дабы

---

[23] Примечания: 23
из стихотворения Уильяма Купера «Отверженный»

не было уж недостатка в женском сочувствии; и он представил себе, как они его утешают, жалеют, и в виденьях утешенный отсветом тонкого удовольствия, какое дарует женская жалость, он вздохнул и сказал — нежно и скорбно:

— Но он не знал, в какой волне
Пришлось захлебываться мне, —

сказал так, что скорбные слова отчетливо услышали все в лодке. Кэм буквально подскочила на сиденье. Она задыхалась — она возмущалась. Отца ее движение вырвало из задумчивости; он вздрогнул, спохватился, он крикнул: «Смотрите! Смотрите!» так настоятельно, что Джеймс повернул голову и через плечо посмотрел на остров. Все смотрели. Все смотрели на остров.

Но Кэм ничего не видела. Она думала про то, как тех тропок, дорожек, густых, петляющих и гудящих всеми теми их жизнями, нет уже: они заглохли; позарастали; они нереальны; а реальное — вот оно: лодка и парус с заплаткой; Макалистер с серьгой: шум волн — все это реально. Так она думала и про себя бормотала: «Мы гибли, каждый одинок», потому что слова отдавались и отдавались у нее в голове, и тут отец увидел ее отуманенный взгляд и принялся над нею

подтрунивать. А знает ли она страны света? — спрашивал он. Север от юга отличить умеет? Она всерьез убеждена, что они живут именно там? И он снова показывал ей верное место, показывал, где их дом, вон там, возле тех деревьев. Ему хочется, чтоб она постаралась быть поточнее, говорил он. Ну-ка, скажи, где восток, где запад, — говорил он, и он шутил, но он и сердился, ибо он решительно не постигал, как можно, не страдая клиническим идиотизмом, не уметь различить стран света. А она не умела. И, глядя, как она смотрит отуманенным, теперь уже перепуганным взглядом туда, где не может быть дома, мистер Рэмзи забыл про свое виденье; как он бродит взад-вперед между урнами по садовой террасе; и к нему простирают руки. Он подумал, что женщины — все такие; у них безнадежный туман в голове; он всегда был не в состоянии это постичь; тем не менее факт остается фактом. И с нею так было — с женой. Женщины не умеют думать четко и ясно. Но напрасно он на нее сердился; в сущности, разве ему не нравится в женщинах именно эта туманность? Она, собственно, часть их немыслимого обаянья. Сейчас я ее развеселю, он подумал. Она выглядит просто испуганной. Совсем притихла. Он тискал собственные пальцы

и думал, что его голос, лицо, быстрый, неожиданный жест — все, что служило ему столько лет, заставляя людей жалеть его и хвалить, и на сей раз ему не изменит. Он ее развеселит. Придумает что-нибудь легкое, простое и скажет. Но что? Он увязнул в работе и забыл, что в таких случаях говорится. Щенок? Они завели щенка. Кто сейчас присматривает за щенком? — спросил он. Да уж, думал Джеймс беспощадно, оглядывая голову сестры на фоне паруса, где ей устоять? Я останусь один. Придется одному исполнять договор. Не будет Кэм никогда насмерть стоять против тиранства, думал он мрачно, глядя на ее грустное, насупленное, покорное лицо. И, как бывает, когда тень тучи ляжет на зелень гористой округи и придавит ее, и, кажется, все среди гор печалуется и грустит, и горы сами будто задумались о судьбе потемнелой зеленой округи, то ли жалостно, то ли злорадно, так и Кэм сейчас себя чувствовала будто под тучей, сидя среди спокойных и твердых людей и не зная, как ответить отцу про щенка; как устоять против этой мольбы — прости меня, пожалей меня; покуда Джеймс, законодатель, разложив скрижали вечной мудрости у себя на коленях (его рука на румпеле казалась ей символом), говорил: не сдавайся, борись. Он все верно

говорил. Справедливо. Нужно насмерть стоять против тиранства, — думала Кэм. Выше всех человеческих качеств она ставила справедливость. Брат был — самый богоподобный из смертных. Отец — самое униженное смиренье. Кому уступить, думала она, сидя между ними, глядя на берег, где спутались странно восток и запад, где лужок и терраса и дом — все стерлось, слилось, и где воцарился покой.

— Джеспер, — буркнула она хмуро. Он присмотрит за щенком.

А как она думает его назвать? — не унимался отец. У него, когда он был маленький, был пес, и того звали Пушок. Она сдастся, думал Джеймс, видя на лице у нее новое выражение, и он это выражение помнил. Они опускают глаза на вязанье или на что-то еще. И потом, вдруг, они поднимают глаза. И — синий сполох — он помнил, и кто-то с ним рядом смеялся, сдавался, а сам он злился ужасно. Это мама, конечно, была, он думал, сидела на чем-то низком, а над нею стоял отец. Он стал откапывать из-под впечатлений, которые время неустанно и тихо, листок за листком, складку за складкой складывало в памяти; из-под запахов, звуков; голосов — грубых, плоских и милых; и скользящих огней, и стучащих швабр; гремящих

и шепчущих волн — как кто-то бродил-бродил и вдруг встал и застыл над ними. Но одновременно он отмечал, что Кэм прочесывает пальцами воду, смотрит на берег; и ни слова не говорит. Нет, не сдастся она, он подумал; она-то другая, он подумал. Что ж, если Кэм не хочет ответить, не стоит к ней приставать, решил мистер Рэмзи и стал нашаривать книгу в кармане. Но она хотела ответить; она просто мечтала, чтоб ее отпустило; чтоб язык развязался и можно было сказать: «Ах да, Пушок. Я его назову Пушок». Ей даже хотелось спросить: «Это тот самый, который нашел один дорогу через болота?» Но как ни старалась, она не могла ничего такого придумать, чтоб, оставаясь суровой и не изменив договору, тайно от Джеймса, дать отцу знак, что она любит его. Потому что она думала, прочесывая пальцами воду (внук Макалистера поймал скумбрию, и она билась на днище, с кровавыми жабрами), потому что она думала, глядя на Джеймса, бесстрастно сверлившего взором парус или вдруг окидывавшего горизонт, — тебе-то что, тебе не понять этой муки, раздвоенности, этой неодолимой туги. Отец шарил в кармане; миг еще, и он найдет свою книгу. Никто на свете ей не нравится так; для нее его руки прекрасны, и ноги, и голос, слова,

нетерпенье, и вспыльчивость, странность, и страсть, и то, как он при чужих говорит: «мы гибли, каждый одинок», и его отвлеченность. (Вот — книгу раскрыл.) Но ведь несносно, она думала, распрямляясь и глядя, как внук Макалистера рвет крючок из жабр еще одной скумбрии, — это его ослепление, и тиранство, которое отравляло ей детство, вызывало страшные бури, так что и теперь еще она просыпается среди ночи и трясется от ярости, вспоминая его какую-нибудь команду; оскорбленье какое-нибудь. «Сделай то», «Сделай се»; его властолюбие; это его «Покорись».

И она не сказала ни слова, только грустно, неотрывно смотрела на берег, окутанный поволокой покоя; будто все там уснули, она думала; и вольны, как дым; как волны, как призраки, вольны уходить и являться. Там у них нет печалей, она думала.

5

Да, это их лодка, решила Лили Бриско, стоявшая на краю лужка. Та лодка с темно-серыми парусами, которая было нырнула и — понеслась по волнам. Там он сидит, и детки его все не проронят ни слова. И его не догнать. Ее давило невысказанное сочувствие. Писать было трудно.

Она всегда его находила трудным. Не в состоянии была, помнится, в глаза ему льстить. Что и сводило их отношения к чему-то бесцветному, без того оттенка эротики, который делал таким рыцарственным и даже веселым его обращение с Минтой. Он ведь как-то цветок ей сорвал; совал свои книги. Неужто он думал, Минта их станет читать? Она их таскала по саду, лепесточком закладывая страницы.

Помните, мистер Кармайкл? — чуть не спросила она, глядя на старого господина. Но тот надвинул шляпу на лоб; уснул, или замечтался, или за словами охотился, кто его знает?

Помните? — ей очень хотелось спросить, когда она проходила мимо и уже думала снова про то, как миссис Рэмзи сидела на берегу; и прыгал в волнах бочонок; и разлетались исписанные лист-

ки. Почему — столько лет уж прошло, а это так живо, выделенное, высвеченное, видное до мельчайшей детали, а все, что было до и что после — сплошная пустыня на мили и мили кругом?

Это лодка? Это пробка? — да, так она спрашивала. И снова Лили нехотя вернулась к холсту. Слава те Господи, остается проблема пространства, думала она, хватаясь за кисть. Оно зияло. На нем держалась вся масса картины. Прекрасное, яркое должно оно быть на поверхности, воздушное, легкое, как бабочкино крыло; но на поверку скрепленное железными скобами. Что-то такое, на что страшно дохнуть; но и ломовикам не сдвинуть. И она накладывала красное, серое, подкапываясь под пустоты пространства. И в то же время — будто сидела с миссис Рэмзи на берегу.

Это лодка? Это пробка? — спросила миссис Рэмзи. И принялась нашаривать очки. Нашла и уже молча сидела, смотрела на море. А Лили продолжала писать, и было так, будто открыли двери и впустили ее под высокие своды собора, очень темного, очень торжественного, и она там стояла и озиралась. Откуда-то из дальнего мира летели крики. Корабли растворялись у горизонта в дымных столбах. Чарльз пускал камешки вскачь по волнам.

Миссис Рэмзи сидела молча. Она, Лили думала, рада была помолчать сама по себе; отдохнуть посреди сутолоки и неразберихи человеческих отношений. Кто знает, кто мы? Что чувствуем? Кто знает, даже в минуту близости: так это знанье и есть? И не портим ли мы, — так спрашивала, наверное, миссис Рэмзи (и часто, кажется, перепадали эти минуты молчания), не портим ли все, вслух его называя? Не лучше ли так-то вот помолчать? Во всяком случае, мгновенье было, по-видимому, исключительно важным. Она вырыла ямку в песке и прикрыла, как бы погребая совершенство мгновенья. Оно и осталось — серебряной каплей, которой и озаряется мрак прошедшего, стоит в нее окунуться.

Лили отступила — проверить перспективу. Вот так! Странная это дорога — живопись. Идешь, идешь по ней, дальше, дальше, пока не очутишься на узенькой планке, совершенно одиноко, над морем. И — окунаешь в синее кисть, а сама окунаешься в прошлое. Потом, она вспомнила, миссис Рэмзи встала. Пора было домой, завтракать. И все потянулись по берегу, и Лили шла сзади с Уильямом Бэнксом, а впереди шла Минта в дырявом чулке. Как назойливо красовалась у них перед носом эта дырка на розовой пятке! Как

терзался из-за нее Уильям Бэнкс, хоть ни словом, помнится, не охарактеризовал ее. Для него эта дырка была опровержением женственности, воплощала беспорядок и грязь, незастланные до обеда постели, требующую расчета прислугу — все, чего он решительно не выносил. У него была манера — передергивать плечами и растопыривать пальцы, как бы заслоняя неприглядный предмет — что он сейчас и проделывал. А Минта шла себе впереди, и, кажется, ее встретил Пол, и они вместе исчезли в саду.

Рэйли! — думала Лили, выжимая из тюбика зеленую краску. Она собирала свои впечатления от этой четы. Их жизнь ей являлась в серии сцен; одна — на рассвете, на лестнице. Пол пришел рано и улегся в постель; Минта запоздала. Вот Минта, накрашенная, разряженная, в каком-то венке, стоит на лестнице в три часа ночи. Пол выскочил из постели в пижаме. В руке кочерга — на случай воров. Минта жует бутерброд, стоя на лестнице возле окна в мертвящем предутреннем свете, и зияет дыра на ковре. Но что тогда говорилось? — гадала Лили, будто, вглядываясь, можно услышать слова. Ужасно. Он говорит, а Минта назло жует бутерброд. Он кидает ей что-то злое, ревнивое, грубое, но вполголоса, чтоб не просну-

лись дети, двое мальчиков. Он — осунувшийся, погасший; она — ослепительная, равнодушная. Чуть не в первый же год все разладилось; семейного счастья не вышло.

Вот так, — думала Лили, набирая на кисть зеленую краску, — сочиняем за людей подобные сценки, и это у нас называется их «помнить», «знать» и «любить». Тут ни слова нет верного; все сама сочинила; но ведь именно это ей про них и известно. Она, как по штольне шла, углублялась в свою работу и в прошлое.

Еще Пол как-то сказал, что «играет в шахматы по кофейням». И на этой фразе она тоже многое понастроила. Она вспомнила, что сразу тогда вообразила, как он звонит горничной, и та говорит: «Миссис Рэйли нет дома, сэр», и он тоже решает уйти. Вообразила, как он сидит в углу, в кошмарном заведении, где дым въелся в красный плюш кресел, где подавальщицы вас знают в лицо, и играет в шахматы с низеньким из Сербитона, который чаем торгует, и больше Полу о нем ничего неизвестно. А когда он приходит домой, Минты все еще нет. И тогда разразилась та сцена на лестнице, и он схватил кочергу на случай воров (разумеется, чтоб ее попугать) и надрывно твердил, что она ему исковеркала жизнь. Во всяком

случае, когда она гостила у них на той даче под Рикмансвортом, отношения были ужасно натянутые. Пол поволок ее в сад показывать своих бельгийских зайцев, и Минта увязалась за ними, насвистывая и обняв его голой рукой за плечо, чтоб чего не сболтнул.

Минта, подозревала Лили, этих зайцев терпеть не могла. Но уж она-то не ляпала лишнего. Никаких таких «шахмат по кофейням». Себе на уме. Но — продолжая историю Рэйли — теперь они благополучно миновали опасный период. Она гостила у них прошлым летом, и сломалась машина, и Минта подавала ему инструмент. Он сидел на обочине, чинил машину, и по тому, как Минта подавала ему инструмент — деловито, дружески, просто, — ясно было, что у них все в порядке. Уже не «влюбленность»; нет; он завел другую женщину, серьезную, с пучком и с портфелем (Минта ее живописала сочувственно, чуть не в восторженных красках), которая ходит с Полом по митингам и разделяет его воззрения (он все меньше стесняется их излагать) относительно налогов на капитал и землевладение. Связь отнюдь не разрушила брака, но навела в нем порядок. Видно было, когда он сидел на обочине, а она подавала ему инструмент, — что

они большие друзья.

Вот вам история Рэйли. Лили улыбалась. Она представляла себе, как рассказывает ее миссис Рэмзи, которой любопытно бы было узнать, что с ними сталось. Она не без торжества сообщила бы миссис Рэмзи, что брак оказался не слишком удачным.

Но мертвые, подумала Лили, наткнувшись на помеху в работе, остановясь, призадумавшись, отступая на шаг-другой. Ох эти мертвые! — пробормотала она. Их жалеешь, их отметаешь, их даже презираешь чуть-чуть. Они отданы нам на милость. Миссис Рэмзи поблекла, истаяла. Мы можем плевать на ее желанья, разбивать ограниченные, старомодные взгляды, пока от них ничего не останется. Она все дальше и дальше от нас отходит. Там, в конце долгого коридора лет, сидит, смешная, и о чем же толкует? «Замуж, замуж!» (Очень прямо сидит, и утро уже, и птицы в саду за окном начинают чирикать.) А ведь можно ответить: «Все не по-вашему вышло. Они так нашли свое счастье; я — так. Жизнь теперь уж не та». И вся она, со всей своей красотой, вдруг показалась стародавней и пыльной. Подводя итог судьбе Рэйли, стоя на припеке, Лили вдруг почувствовала свое преимущество перед миссис

Рэмзи, которой никогда не узнать, что Пол играет в шахматы по кофейням и завел любовницу; и как он сидел на обочине, а Минта подавала ему инструмент; а сама она вот стоит на лужке у мольберта и вовсе не вышла замуж, даже за Уильяма Бэнкса.

Миссис Рэмзи это затевала. Возможно, останься она в живых, она добилась бы своего. В то лето он вдруг оказался «добрейшим человеком». Оказался «первейшим ученым в своем поколении, муж говорит». Но он же был и «бедный Уильям — я так расстраиваюсь, когда его навещаю, в доме никакого уюта, за цветами некому приглядеть». И вот их посылали гулять парочкой, и ей сообщали, с тем легким ироническим призвуком, который делал миссис Рэмзи неуязвимой, что у нее научный склад ума; что она любит цветы; и она-де удивительно аккуратна. И что за мания вечно сватать? — думала Лили, то отступая, то приближаясь к мольберту.

(Вдруг, так внезапно, как срывается в небе звезда, в мозгу у нее вспыхнул красный свет, окутавший Пола Рэйли, от него исходящий. Взвился, как огонь, зажженный дикарями на дальнем острове в честь какого-то их торжества. И были грохот и треск. И все море расколыхалось багрян-

цем и золотом. И винный дух от него поднялся и дурманил, и снова толкал очертя голову кинуться со скалы и погибнуть в поисках брошки. И от грохота, от треска сердце у нее сжалось омерзением и ужасом, будто, глядя на великолепие, роскошь, она сразу увидела расхищенье казны, недостойное, жадное, и стало нехорошо на душе. Но силой и великолепием то зрелище превосходило все, что ей доводилось видывать, и выжглось в памяти, как сигнал дикарей на пустынном затерянном берегу, и стоило кому-то при ней сказать «влюблен», сразу же, вот как сейчас, загорался огонь Пола Рэйли. И гас. И она говорила себе, усмехаясь: «Эти Рэйли»; и вспоминала про шахматы по кофейням.)

Сама она тогда чудом уберегласъ. Глянула на скатерть, и ее осенило, что нужно передвинуть дерево ближе к центру, а вовсе не замуж выходить, и она же тогда просто возликовала. Она тогда поняла, что не спасует перед миссис Рэмзи — отдавая должное поразительной власти, которую миссис Рэмзи имела над человеком. Сделай это, она говорила, — и человек это делал. Властительна даже тень ее с Джеймсом в окне. Она вспомнила, как Уильям Бэнкс тогда чуть ее не убил за легкомысленное отношение к сцене: мать

и дитя. Спрашивал — неужто ее не восхищает их красота? Уильям Бэнкс, она вспомнила, смотрел на нее мудрым взглядом ребенка, пока она толковала, что вовсе тут нет непочтительности: что свет здесь — требует тени там и так далее. У нее и в мыслях не было небрежничать с темой, которую, они согласились, божественно трактовал Рафаэль. Ничуть она не цинична. Напротив. И со своим научным образом мыслей он ведь все понял, что и доказывало бескорыстье ума, которое безмерно ее поддержало, безмерно утешило. Оказалось, с мужчиной можно всерьез говорить о живописи. Право же, дружба с Уильямом Бэнксом ей заметно скрасила жизнь. Прелестный человек Уильям Бэнкс.

Они бродили по Хэмптон-Корту, и, безупречнейший джентльмен, он предусмотрительно отправлялся бродить вдоль реки, чтоб она могла не спеша помыть руки. Характерная для их отношений черточка. Многое не произносилось. И они бродили вокруг замка, лето за летом восторгались пропорциями и цветами, и он говорил ей разные вещи про перспективу и архитектуру, и замирал, устремив на дерево, пруд, ребенка (он все горевал, что у него дочери нет) отвлеченный, отуманенный взгляд, естественный для того, кто

не вылезает из лаборатории, кого мир слепит, и он ходил очень медленно, заслоняя глаза рукой, и останавливался, и запрокидывал голову, и жадно вбирал воздух. А потом говорил, что отпустил экономку в отпуск; и ему надо покупать новую дорожку на лестницу. Не составит ли она ему компанию, когда он пойдет покупать новую дорожку? А как-то раз, заведя разговор о Рэмзи, он сказал, что, когда он впервые увидел ее, на ней была серая шляпа; ей было тогда лет девятнадцать — двадцать, не больше. Ошеломляюще была хороша. И он кинул взглядом вдоль аллеи Хэмптон-Корта, словно вот сейчас, меж фонтанов, он увидит ее.

Она глянула на ступеньки под окном гостиной. Увидела — глазами Уильяма — образ женщины, спокойной, тихой, с опущенным взором. Сидит задумавшись, размышляя (она была в сером в тот день). Опустила глаза. Не поднимет. Да, думала Лили, старательно вглядываясь, такой я и видела ее, но не в сером; и менее тихой, спокойной; не юной. Образ готовно представился взгляду. Уильям говорил — ошеломляюще была хороша. Но красота ведь — еще не все. С этой красотою морока — уж слишком готовно, слишком законченной она открывается взгляду. Она сковывает, она

замораживает жизнь. И забываешь про трепет, вспышку румянца, внезапную бледность, свет, тень, незаметные такие подрагиванья, которые на миг до неузнаваемости меняют лицо, но что-то новое открывают в чертах, что навеки въедается в память. Куда как проще все стереть и сравнять под паволокой красоты. Но с каким лицом, гадала Лили, она нахлобучивала войлочную шляпу, бежала в галошах по росе, распекала садовника Кеннеди? Кто знает? Кто скажет?

Против воли она очнулась, очухалась, спохватилась, что уже она вне картины, и слегка ошарашенно, как на нереальный предмет, смотрит на мистера Кармайкла. Он лежал в шезлонге, сплетя на брюшке руки, и не читал и не спал, просто нежился, — переполненное жизнью созданье. Книга свалилась в траву.

Ей захотелось подойти к нему вплотную и окликнуть: «Мистер Кармайкл!» И он добродушно вскинул бы свой дымный, зеленооблачный взор. Но людей будишь тогда, когда знаешь, что им сказать. А она не что-то одно хотела сказать — все сразу. Словечками этими, которые кромсают, кургузят мысль, — ничего ты не скажешь. «О жизни, о смерти, о миссис Рэмзи»… Нет, она думала, ничего ты не скажешь, и никому. Припирает

безотлагательная необходимость, и говоришь, и выходит не то. Слова несет вкось, мимо цели. И — сдаешься; мысль тонет; и стоишь, далеко не молодая особа, настороженная, скрытная, с морщинками на переносице, с опасливым взглядом. Ну как в словах передать ощущения тела? Передать пустоту вот там (она смотрела на ступеньки под окном гостиной; они были страшно пусты). Это ведь понимаешь телом, не головой. От одного вида этих ступенек ей вдруг стало физически тошно. Мучила неосуществимость желанья. Хотеть невозможного, хотеть и хотеть — да от этого заходится и переворачивается сердце! Ох, миссис Рэмзи! — взывала она без слов к существу, сидевшему подле лодки, ставшему отвлеченностью, к этой женщине в сером, будто обвиняя в том, что ушла, и в том, что, уйдя, воротилась. О ней так спокойно думалось. Ничто, дух, пустота, которой можно безопасно играть денно и нощно, — вот что она стала такое, и вдруг протягивает руку и переворачивает тебе сердце. И пустые ступеньки гостиной, бахрома кресел внутри, шариком выкатившийся на террасу щенок, кипенье и пенье сада превращаются в завитки и виньетки вокруг совершеннейшей пустоты.

Что с нами происходит? Что вы на это скаже-

те? — снова захотелось ей спросить у мистера Кармайкла. Весь мир как растекся в этот ранний утренний час — прудом мысли, глубоким водоемом реальности, и казалось, если мистер Кармайкл заговорит, — трещина тронет поверхность пруда. И что тогда? Что-то вынырнет, что-то покажется. Вскинется рука, сверкнет клинок. Все это глупость, конечно.

Забавная мысль пришла в голову, что он услышал-таки все, чего она не сумела сказать. Непроницаемый старикан со своими этими пятнами на бороде, со своими стихами, загадками, лучезарно плывущий по свету, который исполняет все его прихоти так, что кажется — стоит ему опустить руку, лежа сейчас на лужке, и он выудит из травы все, что душе угодно. Она вгляделась в картину. Да, таков, вероятно, был бы его ответ: «вы», «я», «она» — все пройдет; ничего не останется; все поблекнет; только не слова и не краски. Но на чердаке же повесят, она подумала; скатают и заткнут под диван; но — не важно — даже и про такую картину — все правда. Даже про такую мазню, ну, не про получившуюся картину, про замысел, можно сказать «это навеки останется»; так было она и сказала себе или — высказанные слова ее испугали самонадеянностью

— так бы и решила без слов — когда, глянув на картину, вдруг с удивлением обнаружила, что не видит ее. Глаза наполнила горячая влага (не сразу подумалось о слезах) и, не мешая твердости губ, застлала зрение туманом и пролилась по щекам. Вообще-то она владеет собой — о да! — в остальном она владеет собой. Неужто она рыдает по миссис Рэмзи, сама не сознавая горя? Снова она мысленно метнулась к мистеру Кармайклу. Что происходит? Что с нами происходит? Неужто тут никуда не денешься? И вскидывается рука; клинок — режет; кулак — разит? И нет спасенья? И пути провидения не вытвердить наизусть? И ни вожатая, ни прибежища нет, только чудо, с вершины башни срывающееся в высоту? Неужто — даже на склоне дней — это и есть жизнь? — непонятная, беспамятная и неведомая? На миг один ей показалось, что встань они оба вот тут на лужке, потребуй они объяснения, отчего она так немыслима, потребуй они объяснения неотступно, как власть имеющие, от которых нельзя ничего утаить — и красота раскроется, пространство заполнится, пустенькие завитушки сложатся в образ; стоит только крикнуть погромче, и миссис Рэмзи окажется тут.

— Миссис Рэмзи! — сказала она вслух, — миссис

Рэмзи! — Слезы катились у нее по лицу.

6

Макалистер-внук взял одну рыбу и вырезал у нее из бока кусок — для наживки. Изувеченное тело (еще живое) он бросил обратно в море.

7

— Миссис Рэмзи! — кричала Лили. — Миссис Рэмзи!

Но ничего не произошло. Тоска набухала. До какого идиотизма эта пытка может довести человека! Старик меж тем ничего не слышал. Все тот же, блаженный, спокойный — если угодно так думать, возвышенный. Слава благим небесам, никто не слышал ее постыдного вопля: уймись ты, уймись боль! Значит, она не окончательно выглядит умалишенной. Никто не заметил, как с хлипкой своей планки она шагнула в воды уничтожения. Вот — стоит себе, невзрачная старая дева, с кистью в руке, на краю лужка.

И постепенно отпустили боль и досада (быть вытребованной назад, как раз, когда она думала, что избавилась от миссис Рэмзи, что ей не придется больше о ней тужить. Тосковала она по ней среди кофейных чашек за завтраком? Да нисколько!), отпустили боль и досада, что само по себе — бальзам, но вдобавок таинственным образом ощущалось чье-то присутствие: миссис Рэмзи, сбросив на нее возложенный груз, невесомо стояла рядом и потом (ведь это была

миссис Рэмзи во всем сиянье своей красоты) надела венок из белых цветов и ушла. Лили снова схватилась за тюбики. Надо было атаковать неприступную изгородь. Поразительно, как ясно видела она миссис Рэмзи, обычной своей устремленной поступью уходившую по плавным полям, исчезая в их складчатой нежной лиловости, среди гиацинтов и лилий. А все — уловки профессионального зрения. Долго после того, как узнала о ее смерти, Лили так ее видела — она надевала венок и вместе с конвойным, с тенью, неоспоримо шла по полям. Зрительный образ, фраза имеют власть утешать. Где бы ни писала она, здесь ли, еще где-то на воле, в Лондоне — к ней являлось это виденье, и глаз, сощурясь, всюду искал подспорья. Нырял в глубину вагона, автобуса; выхватывал линию шеи, окат виска; охватывал окна напротив; ночные огни Пиккадилли, прошивающие темноту. Все было частью этих смертных полей. Но всегда что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, выкликающий «Стандарт» и «Ньюс», — отрезвляло, мешало, будило, требовало и добивалось усилий внимания, и видение приходилось без конца подновлять. Вот и сейчас, уступая потребности глаза в шири и сини, она смотрела на бухту, и синие полосы

волн превращала в холмы и в застывшее поле — лиловеющие прогалы. И опять, как всегда, глаз наткнулся на несообразность. На середине бухты торчала темная точка. Лодка. Да, уже в следующую секунду она это поняла. Лодка — но чья? Мистера Рэмзи, ответила она себе. Мистера Рэмзи; человека, который прошествовал мимо с приветственным взмахом руки, отрешенно, возглавляя процессию, в своих несравненных ботинках; который от нее домогался сочувствия, а она отказала. Лодка была уже на середине бухты.

Очень ясное было утро, несмотря на изредка налетавший ветер, и небо и море совершенно слились, и паруса высоко проплывали по небу, и купались в воде купола облаков. Пароход далеко-далеко выпустил дымный свиток, и он декоративно петлился и вился по сини, словно по тоненькой кисее, на которой все выткано и тихо вместе с нею колышется. И, как часто случается в особенно ясные дни, скалы будто помнили о пароходах, и пароходы знали о скалах, и они сигналами передавали друг другу свою какую-то тайную весть. И, порой подступавший к самому берегу, маяк сегодня таял в немыслимой дали.

И где они теперь? — думала Лили, глядя на бухту. Где-то он сейчас, тот самый старик, кото-

рый молча прошествовал мимо со свертком в оберточной бумаге под мышкой? Лодка была на середине бухты.

8

Ничегошеньки-то они там не чувствуют, — думала Кэм, глядя на берег, который, подымаясь и опадая, делался все более дальним и мирным. Рука прорезала след по воде, а воображенье сочиняло из зеленых вихрей и линий узоры и уводило оторопелую, онемелую Кэм в подводное царство, где зыблются жемчугом гроздья пены, где, пропитавшись зеленым светом, у вас изменяется вся душа и призрачное тело сквозит под зеленым плащом.

Но вот вихрь вокруг ее ладони унялся. Вода затихла; весь мир наполнился скрипом и писком. Волны бились о борта лодки так, будто она стала на якоре. Все как-то странно на вас надвигалось. Парус, от которого Джеймс не отрывал глаз, так, что он сделался ему ближе любого знакомого, совершенно провис; они стали, и покачивались, и ждали бриза под палящим солнцем, в жуткой дали от берега, в жуткой дали от маяка. Все на свете застыло. Маяк стоял неподвижно, и вытянулась безжизненно черта далекого берега. Солнце пекло все нещадней, и всех будто толкнуло друг к другу, и каждому пришлось вспомнить о почти

позабытом присутствии остальных. Леса Макалистера отвесно ушла в воду. А мистер Рэмзи читал себе, поджав и сплетя ноги.

Он читал маленькую блестящую книжку в пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Они томились в этом кошмарном безветрии, а он спокойно листал страницы. И, Джеймс чувствовал, каждая страница листалась особенным, ему адресованным жестом: то упрямым, то повелительным; то в расчете на жалость; и все время, пока отец читал и одну за другой листал маленькие страницы, Джеймс боялся, что вот он вскинет взгляд и что-то скажет ему резким тоном. Отчего они тут застряли, он может спросить, или подобную же нелепость. И если он скажет такое, Джеймс думал — он схватит нож и вонзит ему в грудь.

В нем давно жила эта метафора — взять нож и вонзить в отцовскую грудь. Но сейчас, взрослый, глядя в бессильной ярости на отца, уже не этого старика над книжкой он хотел убить, но то, что на него опускалось, может быть, без его ведома: страшную чернокрылую гарпию с жесткими ледяными когтями и клювом, который бьет тебя, бьет (он еще помнил давний холод этого клюва на своей детской голой ноге), а потом улетает

гарпия, и вот он снова — старик, очень, очень печальный, сидит и читает книжку. Вот кого надо убить, вот кого надо пронзить в самое сердце. Чем бы он ни занялся (а он чем угодно может заняться, он чувствовал, глядя на дальний берег и на маяк), в банке будет служить, в конторе ли, адвокатом станет или главой предприятия, — он всегда будет преследовать, выслеживать и вытравлять — тиранию и деспотизм, вот как это у него называется, когда людей вставляют делать то, чего они не хотят, когда их лишают права голоса. Ну как скажешь «не хочу», если он заявляет «отправляйся со мной на маяк, делай то, принеси мне се». Распластываются черные крылья, железный клюв бьет. А в следующую секунду он уже сидит и читает книжку; и может поднять от нее — разве с ним угадаешь? — совершенно разумный взгляд. Он может разговаривать с Макалистерами. Может совать золотой в заскорузлую ладонь старой уличной попрошайки; может орать в голос, глядя на игрища рыбаков; руками размахивать от возбуждения. Или в мертвом молчании просидеть за столом от начала и до конца ужина. Да, думал Джеймс, пока лодка барахталась и плескалась на солнцепеке; есть снежная целина, одинокий, суровый утес; и в

последнее время ему стало сдаваться, когда отец что-то брякал к изумлению остальных, — лишь две пары следов на этом снегу: его собственные следы и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Но откуда же этот ужас и ненависть? Роясь в пластах листвы, которой время выстлало душу, заглядывая в непрорубную чащу, где все затушевано и искажено мельканием солнца и тени, где пробираешься наугад, ослепленный то светом, то тьмой, он отыскивал живой зрительный образ, чтоб остудить и собрать и прояснить свои чувства. Положим, сидя ребенком в колясочке или у кого-нибудь на коленях, он увидел, как кому-то на ногу ненароком наехал безвинный фургон. И он увидел гладкую, целую ногу в траве; потом — колесо; и — ту же ногу, искромсанную и красную. Ко колесо — безвинно. Вот и теперь, когда отец ни свет ни заря, протопав по коридору, вырывает их из постели ради своей экспедиции на маяк, — это ведь колесо давит ногу ему, Кэм, чью угодно еще. И остается сидеть и смотреть.

Да, но о чьей же ноге он думал и в каком это было саду? Были у сцен декорации; были деревья; цветы; определенное освещение; действующие лица. Все разыгрывалось готовней в саду, где не было этой насупленности, этой жестикуляции; и

разговаривали спокойно, вполголоса. Весь день входили и выходили. Старушка болтала на кухне; и шторы засасывал и потом выталкивал ветер; все вздувалось; цвело; и на тарелки и чашки, на желтые и пунцовые розы, долгоствольные и раскачивающиеся, к ночи тонкая, как виноградный листок, натягивалась желтая пелена. Все к ночи темнело, затихало. Но листоподобная пелена так тонка, что колышется от свечей, морщится от голосов; и сквозь нее видна склоненная голова, слышно то близкое, то дальнее шуршание платья, позвякивание цепочки.

И вот в этом-то мире колесо раздавило человеку ногу. Что-то, он помнил, встало над ним; застило свет; не уходило; и что-то взметнулось, прорезало воздух, что-то острое, твердое — клинок, ятаган — прошлось по листве, по цветам даже этого блаженного мира, и все засохло, опало.

— Будет дождь, — он помнил, сказал отец. — Выбраться на маяк не удастся.

Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам. А теперь…

Джеймс посмотрел на маяк. Увидел добела отмытые скалы; башню, застывшую, голую; увидел белые и черные перекрытия; увидел окна; даже

белье разглядел, разложенное для просушки на скалах. Значит, вот он какой — маяк?

Нет, тот, прежний, был тоже маяк. Ничто не остается только собою. Прежний — тоже маяк. Едва различимый порою за далью бухты. И глаз открывался и закрывался, и свет, казалось, добирался до них, в наполненный солнцем и воздухом вечереющий сад.

Но он одернул себя. Стоило ему сказать «они» или «кто-то», услышать близкое шуршание платья, дальнее позвякивание цепочки, он начинал остро чувствовать присутствие того, кто случился рядом. Сейчас это был отец. Напряжение делалось невыносимым. Ведь минуту еще не будет бриза — и отец захлопнет книжку и скажет: «Что такое? Почему мы тут валандаемся, а?», как однажды уже он всадил между ними свой клинок на террасе, и она вся застыла, и будь тогда под рукой у Джеймса топор, нож, что угодно острое, он вонзил бы его в отцовскую грудь. Она тогда вся застыла, и потом рука ее стала вялой, и он понял, что она его больше не слушает, и она встала, ушла, и он остался один, жалкий, беспомощный, по-идиотски сжимая ножницы.

Не было ни ветерка. Вода урчала и фыркала на дне лодки, и несколько скумбрий бились в мел-

кой не покрывавшей их луже. В любую минуту мистер Рэмзи (Джеймс на него боялся взглянуть) мог встать, захлопнуть книжку и сказать что-нибудь резкое; но покамест он читал, и Джеймс украдкой, как босиком крадешься по лестнице, боясь скрипом половицы разбудить сторожевого пса, вспоминал, какая она была и куда подевалась в тот день. Он слонялся за нею из комнаты в комнату, и наконец они очутились в такой комнате, всей синей от множества фарфоровых блюд, и она говорила с кем-то; он слушал; она говорила с прислугой; говорила все, что взбредет на ум. «Нам синее блюдо сегодня понадобится. Где оно — наше синее блюдо?» Она одна говорила правду; ей одной он мог сказать правду. Вот в чем, наверно, секрет его не остывшей привязанности; она была человеком, которому можно сказать все, что взбредет на ум. Но все время, пока он про нее думал, отец — он чувствовал — преследовал его мысль, и мысль спотыкалась и путалась.

И он перестал думать; сидел, держа руку на румпеле, под пеклом, неотрывно смотрел на маяк и не мог шелохнуться, не мог смахнуть эти зерна печали, которые одно за другим оседали в душе. Будто его связали канатом, и отец затянул узел, и вырваться можно только, если взять нож и… Но

тут парус медленно повернулся, поймал ветер, вздулся, лодка встряхнулась, сонно качнулась, очнулась от сна и понеслась по волнам. Сразу всем немыслимо полегчало. Их будто отбросило друг от друга, каждый снова был преспокойно сам по себе, и лесы туго и косо тянулись от борта. Но отец так и не встал. Только загадочно высоко вскинул правую руку и опять уронил на колено, будто дирижировал тайной симфонией.

9

(Море, без единого пятнышка, думала Лили Бриско, глядя и глядя на бухту. Оно синим шелком натянулось на бухту. У дали странная власть; вот — проглотила их, думала Лили, канули навсегда, растворились в сути вещей. Все так спокойно; так тихо. Пароход исчез, но большой дымный свиток еще струился по сини и никнул, прощаясь, как траурный стяг.)

10

Так вот он какой, остров, думала Кэм, снова прочесывая пальцами воду. Она никогда еще его не видела с моря. Вот, оказывается, как он улегся на воду, с выбоиной посередине и двумя зубчатыми скалами, и волны несутся к нему, и разбегаются на мили и мили кругом. Он совсем крохотный; как листик, стоящий торчком. И вот мы взяли лодочку, она думала, уже сочиняя историю о спасении с тонущего корабля. Но вода сеялась у нее сквозь пальцы, убегали под лодку струи водорослей, и ей не хотелось сочинять эту историю дальше; хотелось просто дышать ветром воли и приключений, потому что лодка неслась, а она думала про то, как отцовское раздражение по поводу стран света, настойчивость Джеймса по поводу договора, ее собственное малодушие — все исчезло, прошло, унеслось на волнах. Что же дальше? Куда нас мчит? От руки, глубоко засунутой в воду и оледеневшей, до самого сердца фонтаном стрельнула радость: перемена, приключение, бегство (я живая, вот она я!). И брызги радостного фонтана падали на смутное, неопознанное, дремотно ворочавшееся

у нее в голове; и оно озарялось во тьме. Греция, Рим, Константинополь. Какой-никакой, крохотный, как листик, обмокнутый стеблем в золотое марево вод — он ведь тоже, значит, имеет свое назначение во вселенной — этот маленький остров? Уж они бы ей объяснили — те старые господа в кабинете. Иной раз она нарочно забредала из сада, чтоб застать их врасплох. Сидели (мистер Кармайкл и, наверное, мистер Бэнкс, оба старые и сухие) друг против друга в креслах. Шуршали страницами «Таймса», когда она забредала из сада, поглощенные неразберихой: кто и что сказал про Христа; и на улице Лондона выкопан мамонт; и каков он — великий Наполеон? Потом они все собирали чисто вымытыми руками (оба в сером всегда; пахли вереском), воссоединяли клочки, переворачивали страницы, закидывали нога на ногу, роняли одно-другое словцо. Зачарованная, она брала с полки книгу и стояла, глядя на отца, который так аккуратно, так ровно исписывал страницы от угла до угла и вдруг легонько покашливал или говорил что-нибудь старому господину напротив. И, стоя с открытой книгой в руках, она думала — вот как листик в воде, так и мысль распускается здесь, и если тебе думается легко здесь, среди старых господ, которые курят

трубки, шуршат страницами «Таймса», значит, все, что ты думаешь, — правда. И, видя отца, писавшего у себя в кабинете, она думала (вот сейчас, сидя в лодке) — он лучше всех на свете, он самый умный; и никакой он не суетный, и он не тиран. Наоборот, когда он ее видел над книгой, он очень ласково спрашивал, не нужна ли ей его помощь?

Боясь, как бы все это не оказалось неправдой, она посмотрела на отца, склонившегося над маленькой книжечкой в блестящем, пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Нет. Все правда. Ну, посмотри ты на него, хотелось ей сказать Джеймсу (Джеймс не отрывал глаз от паруса). Он ядовито попирает чужое достоинство, говорил Джеймс. Вечно переводит разговор на себя и свои книги, говорил Джеймс. Невыносимый эгоист. И — главное — он тиран. Ну, посмотри, — думала она, глядя на отца. Ну, посмотри ты на него. Она смотрела, как он читает эту книжечку, поджав под себя ноги; книжечку, желтоватые страницы которой она знает, хоть не знает, что там написано. Она маленькая; с убористой печатью; на форзаце, она знает, он записал, что потратил пятьдесят франков на ужин; вино — столько-то; столько-то официанту; все аккуратным столбиком сложено внизу страницы. А что написано

в книжечке, у которой углы затупились в его кармане, она не знает. О чем он думает, не знает никто. Но он в это так углублен, что если поднимет глаза, — вот как сейчас, — то не для того, чтоб на что-то взглянуть; а для того, чтоб вернее ухватить свою мысль. И — снова проваливается в чтение. Он читает, она думала, так, будто кому-то показывает дорогу, или увещевает огромное стадо овец, или пробирается в гору все выше и выше по узенькой тропке: а то вдруг шагает быстро, напролом через заросли, и часто ей казалось, вот ветка хлестнула его по лицу, ослепила колючая ветка, а он не сдается, идет и идет, перебрасывая страницы. И Кэм сочиняла дальше историю о спасении с тонущего корабля, ведь, сидя тут, она была в безопасности; как тогда в безопасности, когда прокрадывалась из сада, брала с полки книгу, а кто-нибудь из старичков вдруг приспускал газету и ронял одно-другое словцо о характере Наполеона.

Она смотрела назад, на море, на остров. Листик утрачивал остроту очертаний. Стал очень маленьким, очень далеким. Уже море было важнее берега. Волны кругом ходили и падали, и на одной плясало бревно; на другой качалась чайка. Вот тут где-то, она подумала, обмакнув пальцы в

воду, они потонули в бурю, и мечтательно, сонно она прошептала — мы гибли, каждый одинок.

11

Как же много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море — почти без единого пятнышка и такое тихое, что лодки и облака будто застыли в лазури, — как же много зависит, она думала, от расстояния: близко ли от тебя человек или он далеко. Ее отношение к мистеру Рэмзи менялось, покуда он дальше и дальше плыл через бухту. Как-то разрежалось, растягивалось; он становился более и более дальним. Его и детей как заглотнула лазурь, заглотнул простор; а тут совсем рядышком на лужке вдруг крякнул мистер Кармайкл. Она засмеялась. Он выуживал из травы свою книгу. Снова устраивался в шезлонге, пыхтя, отдуваясь, как морское чудище. Совершенно другое дело, когда человек у тебя под боком. И снова все стихло. Там должны бы уж встать; пожалуй, пора, соображала она, и взглянула на дом, и никого не увидела. Ах да, она вспомнила, они же всегда сразу, позавтракав, разбредались по своим надобностям. Все было в согласии с тишиной, пустотой, нереальностью раннего часа. Так бывает, думала она, оглядывая высокие посверкивающие окна и сизое веянье дыма: все

становится нереальным. Когда возвращаешься после отъезда или после болезни, пока еще не оплела своей сетью привычка, — так же все нереально, так же ново и поражает; будто рождается что-то. И жизнь необычайно свежа. И редкое ощущенье свободы. Слава Богу, не надо бодро-бодро щебетать, поспешая через лужок навстречу старой миссис Бекуиз, которая высматривает для себя уютный уголок: «Ах, с добрым утром, миссис Бекуиз! Прелестная погода, не правда ли? Значит, вы отважно решились посидеть на солнышке? И куда это Джеспер запропастил стулья? Сейчас я найду вам и принесу! Вы позволите?» — и прочее в том же роде. Можно просто молчать. Скользить, расправив паруса (бухта оживлялась, лодки то и дело отчаливали), среди всего и — мимо, мимо. И ты не в пустоте, а в чем-то, наполненном до краев. Она словно по горло стояла в чем-то, и двигалась, и плыла, и тонула, да, потому что безмерно глубоки эти воды. Столько жизней в них пролилось. Жизнь миссис Рэмзи; детей; и еще бесконечная всякая всячина. Прачка с корзиной; грачи; кусты факельных лилий; лиловость и матовая зелень цветов; и общее чувство, на котором все это держалось.

Вот похожее чувство — завершенности, что

ли, — десять лет назад на этом самом краю лужка толкало ее говорить, что она влюблена в это место. У любви ведь бездна обличий. И должны быть такие любящие, чей талант — выделять элементы вещей и соединять их, наделив не присущей им цельностью, из разных сценок, из встреч разных людей (и все это прошло, никого уже нет, все разрозненны) создавать то единое, круглое, к чему тянется мысль, чем играет любовь.

Она поискала глазами темную точку — лодку мистера Рэмзи. Доберутся, надо думать, к обеду до маяка. Но свежел ветер, небо чуть-чуть изменилось, море чуть-чуть изменилось, лодки иначе накренились, и вид, за миг до того удивлявший таинственной закрепленностью, сразу погас. Ветер развеял дымный свиток; чем-то неприятным отдавало расположенье судов.

От этой диспропорции стало нехорошо на душе. Ее точило сомненье. И подтвердилось, когда она перевела взгляд на холст. Она впустую угробила утро. Почему-то такое она не сумела уравновесить две противоборствующие силы: мистера Рэмзи и свою картину; вот ничего и не вышло; нет, не вышло. В рисунке, что ли, просчет? И линию стены надо бы чем-то прервать, или слишком давят массой деревья? Она иронически усмехнулась; а

ведь считала, что решение найдено.

Решение! Какое там решение! Надо именно то ухватить, что от тебя ускользает. Ускользает, пока думаешь про миссис Рэмзи; ускользает, когда думаешь о картине. Вертятся фразы. Виденья. Красивые фразы. А ухватить надо — вот: само это трепетание нервов; и то, что еще не застыло в форме и непредставимо пока, — передать. Брось все и начни сначала; брось все и начни сначала, решала она отчаянно, снова замирая перед мольбертом. Жалкая машина, негодная машина, она думала — человеческое приспособленье для писанья картин, для чувств; вечно в критическую минуту отказывает; вот геройски и заводи ее снова. Она недовольно оглядела холст. Да, там изгородь, кто же спорит. Но нахрапом ничего не возьмешь. Только слепящие точки в глазах, если тупо смотреть на стену или твердить: на ней была серая шляпа. Поразительно была хороша. Нет уж, пускай само находит, она думала, если найдет. Ведь бывают же такие минуты, когда нет ни мыслей, ни чувств. Но когда нет ни мыслей, ни чувств — где ты тогда?

Здесь, на траве, на земле, она думала, присаживаясь и лаская кистью мелкое поселение подорожников. (Лужок весь зарос.) Да, здесь и

обретаешься, в этом мире, она думала, и она не могла отогнать ощущения, что все в это утро происходит в первый раз или, может, в последний, как пассажир у окна, хоть и клонит его в сон, заставляет себя смотреть, зная, что больше ему никогда не видать проносящегося городка, и тележки с осликом, и женщины, копающейся на огороде. Лужок — это мир; и оба мы — тут, на возвышенном месте, она думала, глядя на старого мистера Кармайкла, который, кажется (хоть не промолвил ни слова), разделял эти мысли. Его мне тоже, может быть, больше никогда не видать. Он старый совсем. А во-вторых, вспомнила Лили, нежно улыбаясь болтающемуся у него на ноге шлепанцу, он же у нас теперь знаменитость. Пишет, говорят, «дивные» стихи. Его сочинения сорокалетней давности откапывают и публикуют. Есть теперь такая знаменитость, именуемая Кармайкл. И она улыбнулась, подумав про то, как много ипостасей у одного человека, и вот он теперь знаменитость в газетах, а здесь все тот же, что и всегда. Так же выглядит — ну, чуть-чуть поседел. Да, он выглядит так же, хоть кто-то, помнится, ей говорил, что, когда он услышал о смерти Эндрю Рэмзи (он умер мгновенно от разрыва гранаты; из него вышел бы великий матема-

тик), мистер Кармайкл потерял к жизни всякий интерес. В чем же, гадала она, это выражалось? Маршировал он по Трафальгар-сквер, сжимая тяжелую трость? Один, у себя на Сент-Джонс-Вуд, листал и листал, не читая, книгу? Она не знала, что именно он делал, услышав о смерти Эндрю, но она все это в нем чувствовала. Они только здоровались невнятно на лестнице; смотрели на небо и говорили, что погода будет хорошая; или погода будет плохая. Но и так узнаешь человека: узнаешь общий очерк, не частности; сидишь у себя в саду и видишь гору, сонным склоном уходящую в лиловую вересковую даль. Вот так и она его знала. Знала, что он изменился. Она не читала ни строчки его стихов, но, кажется, знала их тягучую звучность. Густых и спелых стихов. О пустынях, верблюдах. О закатах и пальмах. В высшей степени отвлеченных стихов; в них немного о смерти; и почти ничего о любви. В нем высокая отъединенность; он очень мало нуждается в людях. Как смешно он пытался вечно, с газетой под мышкой прошмыгнуть мимо окна гостиной, мимо миссис Рэмзи, которую за что-то он недолюбливал! И потому-то, естественно, она вечно норовила его задержать. Он отвешивал ей поклон. Досадуя, что ему от нее ничего не нужно, миссис Рэмзи

спрашивала (Лили так и слышала этот голос), не нужно ли принести ему плащ? Плед, газету? Нет, ему ничего не нужно (отвешивался поклон). Что-то в ней было такое, что претило ему. Может быть, властность, наступательность, что-то в ней прозаическое. Эта ее прямота.

(Окно в гостиной вдруг воззвало к ее вниманию, пискнув петлей. С ним заигрывал легкомысленный ветерок.)

Некоторые, конечно, ее просто не выносили, думала Лили. (Да. Ступени перед окном гостиной пусты, она видит, но ей это решительно безразлично. Ей сейчас не нужна миссис Рэмзи.) Считали слишком резкой, самоуверенной. Даже ее красота кой-кого раздражала. Однообразная, говорили, всегда одинаковая! Предпочитали иное — смутность, игру. И с мужем поставить себя не сумела. Допускала его эти выходки. И скрытная чересчур. Никто толком не знал ее прошлого. И (возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии) нельзя себе представить, чтоб миссис Рэмзи битое утро проторчала с кистью в руке над мольбертом, провалялась с книжкою на лужке. Никак нельзя себе представить. Ни слова не сказав, только вооружась своей дежурной корзинкой, она отбывала в городок, к беднякам, сидеть в какой-

то пропахшей лекарствами конуре. Тысячу раз Лили наблюдала, как, ни слова не сказав, вдруг, посреди игры, посреди разговора, она отбывала с этой корзинкой, очень прямо держась. Лили разглядывала возвращавшуюся миссис Рэмзи и, усмехаясь (уж очень истово руководила она чаепитием) и плавясь (дух захватывает — как хороша), думала — глаза, закрывающиеся в муках, сейчас на тебя смотрели. Ты была с ними там.

А миссис Рэмзи опять уже готова была вскинуться из-за вашего опозданья к столу, из-за несвежего масла, из-за щербинки на чайнике. И все время, пока она распространялась по поводу несвежего масла, вы думали о греческих храмах и о том, что с ними там была красота. Никаких разговоров — просто она брала корзинку и удалялась, очень прямо держась. Ее толкал инстинкт — инстинкт, который ласточек тянет на юг, артишоки к солнцу, безошибочно ее поворачивал к людям, помогал свить в душе у них гнездышко. Но этот инстинкт, как и другие инстинкты, того, кто ими не наделен, раздражает; мистера Кармайкла, наверное, раздражал; и уж, конечно, Лили. Оба опирались на соображение о тщетности действий, о первенстве мысли. Эти ее уходы им были укором, все на свете переворачивали,

и, видя свои исчезающие предубеждения, обоим хотелось упереться, удержать их силком. С Чарльзом Тэнсли — та же история; между прочим, еще и поэтому его не любили. Он опрокидывал все ваши понятия о пропорциях. И что-то с ним теперь, думала она, праздно прохаживаясь по подорожнику кистью. Диссертацию защитил. Женился; в Хэмпстеде живет.

Как-то во время войны она зашла в один зал, где он держал речь. Он что-то изобличал; он клеймил кого-то. Проповедуя любовь к ближнему. А она сидела и думала — как может любить себе подобных тот, для кого живописи просто не существует, кто вечно торчал у нее над душой, обкуривая махоркой (экономия на куреве, мисс Бриско!), и считал своим долгом ей разъяснять, что женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером, — и не потому, что таково его убеждение, а потому, что так ему, по непонятным резонам, угодно. Тощий, красный, натужный, он вещал с возвышенья (муравьи суетились среди подорожников, и она ворошила их кистью — красные, энергические муравьи, в общем, похожие на Чарльза Тэнсли). Она иронически смотрела, как он начиняет любовью к ближнему полупустой и промозглый зал, и вдруг

— закачался, закачался в волнах бочонок, или что это было такое, а миссис Рэмзи нашаривала на гальке очешник. «Господи! Вот несчастье! И этот посеяла! Успокойтесь, мистер Тэнсли. Я их каждое лето тысячами теряю». И он вжимает в воротник подбородок, — дескать, не может санкционировать подобное преувеличение, но простит, так и быть, той, которую любит, — и улыбается прелестной улыбкой. Он, конечно, ей исповедовался в этих долгих прогулках, когда все разбредались и возвращались порознь. Он дал воспитание младшей сестре, миссис Рэмзи ей доложила. Что дивно его характеризует. Конечно, у ней у самой о нем превратное представление, решила Лили, теребя подорожник кистью. То и дело составляешь превратные представленья о людях. Из собственных тайных расчетов. Чарльз служит ей мальчиком для битья. Отхлестывая его по тощему заду, она на нем вымещает свои настроения. А если серьезно к нему подходить, надо руководиться высказываниями миссис Рэмзи, смотреть на него ее взглядом.

Она возвела холмик — препятствие для муравьев. И повергла тех в ужас и недоумение, смешав всю историю их мирозданья. Одни побежали туда, другие сюда.

Надо иметь пятьдесят пар глаз, думала она. Но и пятидесяти не хватит, чтоб управиться с одной этой женщиной. Среди них хоть одна пара глаз должна быть абсолютно слепа к ее красоте. А нужней всего — тайное и, как воздух, тонкое чувство, которое бы умело проникать сквозь замочные скважины, ее настигать, когда она занята вязаньем, разговором, или молча, одиноко, сидит у окна, а потом исчезать, кладом храня, вот как воздух хранил тот пароходный дымок, ее мысли, фантазии, ее желанья. Что для нее значила эта изгородь, что значил сад? Что для нее значил шорох набежавшей на берег волны? (Лили вскинула взгляд так, как, она видела, вскидывала взгляд миссис Рэмзи; она тоже услышала шорох набежавшей на берег волны.) И как, интересно, обрывалось у нее и екало сердце, когда дети кричали «Сколько? Сколько?», гоняя в крикет? На секунду ока опускала вязанье. Всматривалась в сторону крикетной площадки. И опять от нее отвлекалась, а мистер Рэмзи останавливался, как вкопанный, на ходу, и странное волнение забирало ее и не отпускало, пока он, стоя рядом, сверху вниз на нее смотрел. Лили очень живо себе его представила.

Он протягивал руку и помогал ей подняться

со стула. И отчего-то такое казалось, что это уже было; и некогда он так же склонялся, помогая ей выйти из лодки, которая неудачно пристала у острова, и дамы не на шутку нуждались, чтобы выбраться на сушу, в помощи джентльменов. Старомодная сценка, где мерещатся чуть ли не кринолины, и камзолы, и белые чулки. И, подав ему руку, миссис Рэмзи, наверно, решила: час пробил. Да, сейчас она ему скажет. Да, она выйдет за него замуж. И тихо, неспешно она ступила на берег. Может, всего одно-два словца она тогда ему и сказала, не отнимая руки. Я за вас выйду замуж, — она сказала, и руку не отняла; и все. И снова и снова их пробирал тот же трепет — заметным образом, думала Лили, разглаживая путь для своих муравейников. Ничего она не сочиняет; просто разглаживает то, что ей давным-давно подарено в свернутом виде; она это видела своими глазами. Ведь в ежедневной круговерти и кутерьме, среди детей и гостей — вы все время чувствовали этот дух повторенья — все падало по траектории, проторенной уже чем-то другим, и вызывало готовное, долго-долго дрожавшее в воздухе эхо.

Но ошибкой было бы, она думала, вспоминая, как они удалялись — она в своей зеленой шали,

он в реющем галстуке, рука об руку мимо теплицы, — ошибкой было бы их отношения упрощать. Далеко до безмятежной идиллии — с ее-то вскидчивостью, непредсказуемостью; с его хандрою и приступами. Уж какое! Ни свет ни заря вдруг бешено грохала дверь спальни. Или он, разъяренный, выскакивал из-за стола. Запускал тарелкой в окно. И по всему дому будто двери гремели, стучали шторы, как в бурю, и подмывало броситься, задвигать засовы, наводить порядок. В таких обстоятельствах они столкнулись раз на лестнице с Полом Рэйли. И, как дети, умирали со смеху из-за мистера Рэмзи, который, обнаружа мошку у себя в молоке, отправил свой завтрак по воздуху в сад. «Мошка, — в священном ужасе лепетала Пру, — у него в молоке». К другим в молоко пусть плюхается сороконожка. Он же сумел вокруг себя воздвигнуть такие стены благоговения и с такой величавостью среди них прохаживался, что мошка у него в молоке обращалась в могучее чудище.

Но миссис Рэмзи утомляли, ее несколько угнетали запусканье тарелок и грохотанье дверьми. И порой они тяжко, подолгу не разговаривали, и (не любила Лили этих ее настроений) не то обиженная, не то возмущенная, она была как бы не в

состоянии спокойно выстаивать бурю и смеяться, как все, но что-то вынашивала в этой усталости. Сидела и думала-думала. Погодя он начинал делать вокруг нее круги, слонялся под окнами, покуда она писала письма, с кем-нибудь разговаривала и все старалась не оказаться не занятой, когда он поблизости, притворялась, будто его не замечает. И он становился шелковый, само смиренье и обходительность, пытаясь вернуть таким способом ее расположение. Но она не сдавалась, вдруг напускала на себя гордый вид неприступной красавицы, вообще-то в высшей степени ей не присущий; эдак голову повернет; глянет через плечо; и непременно, чтоб рядом Минта, Пол какой-нибудь, Уильям Бэнкс. Наконец, отверженный, отринутый, ну, — изголодавшийся волкодав (Лили поднялась с травы, глянула на окно, на ступеньки: вот там он стоял), он произносил ее имя, только разок — волк и волк, взвывающий на снегу, — но она и тут не сдавалась; и он снова ее окликал, и тут уж что-то в его голосе срывало ее с места, она вдруг бросала всех, шла к нему, и они удалялись вдвоем — под груши, к капустным грядкам, к малиннику. Удалялись — все уладить наедине. Но с помощью каких слов, каких жестов? И такое достоинство было в их отношениях,

что сама она, Минта и Пол, скрывая неловкость и любопытство, отворачивались, не смотрели им вслед, принимались рвать цветы, и перекидывались мячом, и болтали до самого ужина и — пожалуйста! — они снова сидели: она на одном конце стола, он на другом, как всегда.

— Почему это вы, никто, ботаникой не займетесь?.. Столько ног у вас, столько рук в общей сложности, и хотя бы один… — они, как всегда, разговаривали, шутили со своими детьми. Как всегда. Только легкая искра, как блеск клинка, то и дело проскакивала между ними, будто привычный вид детей над супом освежился у них в глазах после того часа среди груш и капусты. Особенно часто, Лили думала, поглядывала миссис Рэмзи на Пру. Та сидела посередине стола между братьями и сестрами и, кажется, до того боялась, как бы чего не вышло, что сама почти не раскрывала рта. Как, наверное, Пру себя костерила за ту несчастную мошку! Как побелела, когда мистер Рэмзи запустил тарелкой в окно! Как сникала во время этих их размолвок! И мать словно старалась ее приободрить; убеждала, что все хорошо; обещала, что и ей суждено то же счастье. Правда, она им недолго понаслаждалась — меньше года.

Она тогда выронила из корзинки цветы, думала

Лили, щурясь и на шаг отступя, будто оглядывая холст, но к нему не притронулась, и чувства в ней будто застыли, ледком подернулись на поверхности, а ниже была стремнина.

Она роняла из корзинки цветы, разбрасывала по траве и, нехотя, через силу, но без вопросов и жалоб — разве не владела она даром безупречного послушанья? — она уходила тоже. По полям и лугам, белым, цветистым — вот как это бы написать. Горы хмуры; кремнисты; крутая тропа. С ревом бьются о берег волны. И уходят — все трое — и миссис Рэмзи идет впереди, очень быстро, будто сейчас за углом она встретит кого-то.

Вдруг в окне, на которое она смотрела, что-то смутно забелелось. Значит, все-таки кто-то вошел в гостиную. Господи, пронеси, взмолилась она, только бы они там и оставались, не обрушивались на нее с болтовней! Слава Богу, кто бы там ни был, оставался внутри; и по счастливому совпадению даже отбрасывал на ступени хитрую треугольную тень. Это чуть-чуть меняло композицию. Интересно. Еще пригодится. И вернулось прежнее настроение. Смотреть в оба, ни на секунду не расслабляться, чтоб тебя не надули. Держать всю сцену — вот так — в тисках, чтоб ничто не могло вклиниться и напортить.

Главное, она думала, довериться будничной вещи; просто чувствовать — вот кресло, вот стол, и — одновременно: ведь это чудо и счастье. А решенье придет. Ах, да что же это там такое? Что-то белое прошлось волной по оконнице. Видно, ветер взмахнул какой-то оборкой. Сердце перестукнуло, оборвалось и заныло.

Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — звала она, снова чувствуя прежнюю пытку — хотеть и хотеть невозможного. Неужто до сих пор в ее власти так мучить? И потом, сразу, как если бы ей удалось сдержаться, стало и это будничной вещью — как кресло, как стол. Миссис Рэмзи — по безмерной своей доброте к Лили — просто сидела в кресле, посверкивала спицами, вязала свой красно-бурый чулок, отбрасывала тень на ступени. И все.

И — будто вот сейчас ей необходимо с кем-нибудь поделиться, да трудно расстаться с картиной, так душа переполнена тем, что она увидела, тем, что думала. Лили с кистью в руке прошла мимо мистера Кармайкла, на край лужка. Где же эта их лодка? И мистер Рэмзи? Он был сию минуту ей нужен.

12

Мистер Рэмзи почти разделался с чтением. Рука парила над страницей, как бы изготовляясь перевернуть ее в тот самый миг, когда он ее дочитает. Сидел, простоволосый, и прядями играл ветер. Он выглядел очень старым. Выглядел незащищенным. Выглядел, думал Джеймс, рассматривая его голову то на фоне маяка, то на фоне катящей, бескрайной сизой пустыни, — как древний камень, забытый в песках. Выглядел так, будто физически превратился в то, что оба они всегда носили в душе, — то одиночество, от которого, они знали оба, никуда ты не денешься.

Он очень быстро читал, будто хотел поскорей дочитать до конца. И действительно, они уж были совсем близко от маяка. Вот он — прямой и голый, ярко-черный и белый, и видно, как волны битым белым стеклом отскакивают от скал. Ясно видны на скалах трещины и прожилки; видны окна; вон белый мазок на одном; на скале зеленый пучок. Вышел человек, глянул на них в подзорную трубу, снова скрылся. Так вот он какой, думал Джеймс, — маяк, на который столько лет он смотрел через бухту; голая башня на дикой

скале. Маяк ему нравился. Помогал, может быть, разобраться в себе. Старые дамы, Джеймс думал, дома, в саду таскаются по лужку со стульями. Старая миссис Бекуиз, например, вечно твердит, ах как все прелестно, как мило, как им повезло, как им надо гордиться, — а на самом-то деле, думал Джеймс, оглядывая маяк на дикой скале, — вот как оно обстоит. Он посмотрел на отца, который читал неистово, тесно сплетя ноги. Он-то знает. «Нас буря несет, нам суждено утонуть», — пробормотал он сам с собою, но вслух, в точности, как отец.

Уж целую вечность никто, кажется, слова не проронил. Кэм надоело смотреть на море. Мимо проплыла раскрошенная черная пробка; рыба на дне лодки уснула. А отец все читал, и Джеймс на него смотрел, и она на него смотрела, и они клялись насмерть стоять против тиранства, а он читает себе, ничуть не заботясь о том, что они думают. Его не уловишь, она думала. Большелобый и большеносый, уткнулся в свою пятнистую книжечку — и его не уловишь. Попробуй-ка его ухвати — он, как птица, расправит крылья, улетит от тебя и усядется в недоступной дали на сирый пень. Она оглядывала водный бескрайний простор. Остров стал уже такой крохотный, что

и на листик, пожалуй, не похож. Похож на верхушку скалы, которую вот-вот накроет волной. А ведь на этой хиленькой скудости остались те тропки, террасы, спальни — всякая всячина. Но, как всегда перед сном упрощается все, и из мириад подробностей только одна ухитряется на себе настоять, так и в сонных глазах Кэм меркли тропки, террасы и спальни, побледнели и стерлись, и только бледно-голубое кадило еще мерно качалось у нее в голове. Да это же сад висячий; и долы, и цветы, колокольчики, и птички, и антилопы… Она засыпала.

— Пора! — вдруг сказал мистер Рэмзи, захлопывая книгу.

Что — пора? Какому подвигу время? Кэм вздрогнула и проснулась. Где-то высаживаться? Куда-то взбираться? Куда он их поведет? После бескрайного молчанья эти слова ошарашили их. Но — дудки! Он сказал, что проголодался. Пора приступить к ленчу. И к тому же, мол, посмотрите. Уже и маяк — отсюда рукой подать.

— Ишь малый, — сказал Макалистер в похвалу Джеймсу. — Ходко ведет. Слушается она его.

А отец вот в жизни его не похвалит, горько подумал Джеймс.

Мистер Рэмзи развернул пакет и распределил

бутерброды. И был счастлив, уплетая хлеб и сыр вместе с этими рыбаками. Ему бы в лачуге жить, слоняться у причала, состязаться с другими стариками по плевкам в цель, думал Джеймс, глядя, как он нарезает свой сыр перочинным ножом на тонкие желтые ломтики.

Все правда, все правда, чувствовала Кэм, обколупывая крутое яйцо. Как тогда она чувствовала, там, в кабинете, где читали «Таймс» старые господа. Что хочу, то и думаю, и я не сверзнусь в пропасть, я не утону, потому что вот он — за мною присматривает.

И они так быстро неслись мимо скал, и это было так дивно: будто две вещи делаешь сразу — спокойненько закусываешь на солнышке и спасаешься после кораблекрушения в бурю. Хватит ли нам пресной воды? Хватит ли продовольствия? — беспокоилась Кэм, сочиняя свою историю, и одновременно прекрасно помнила, что происходит.

Им-то недолго осталось, говорил мистер Рэмзи старому Макалистеру; а дети еще много кой-чего понасмотрятся. Макалистер сказал, что в марте ему стукнуло семьдесят пять; мистер Рэмзи разменял свой восьмой десяток. Макалистер сказал, что сроду у доктора не был; все зубы — свои.

Вот такой жизни я б желал для своих детей. Кэм была уверена, отец это подумал, когда не дал ей бросать бутерброд в воду; наверное, он подумал про жизнь рыбаков, раз сказал ей, что, если не хочется есть, пусть положит еду обратно в пакет. Зачем же бросать? Он мудрец, все на свете он знает, и она сразу послушалась, а он подал ей из своего пакета имбирный пряник, вот как гранд бы испанский, она подумала, подал даме розу в окно (столь изысканным жестом). Но одет кое-как, и такой простой, ест хлеб с сыром; а ведь всех их ведет на великий подвиг, и всем им, кто знает, может быть, суждено утонуть…

— Вон где она на дно-то пошла, — вдруг сказал Макалистер-внук.

— На этом самом месте трое и потонуло, — сказал старый Макалистер. Он их своими глазами видел, в мачту так и вцепились. И мистер Рэмзи посмотрел на то место и, Кэм и Джеймс устрашились, был готов разразиться:

Но он не знал, в какой волне…

и если бы он разразился, они бы не вынесли; они бы завыли в голос; им были уже не под силу эти взрывы тоски; но, к их удивлению, он сказал только: «А-а», будто про себя подумал: стоит ли

шум поднимать? Да, люди в бурю тонут, но это натуральное дело, и пучина морская (он тряс на них крошки с бумаги от своего бутерброда), в сущности, — только вода. Потом, раскурив трубку, он вынул часы. Внимательно изучал циферблат; верно, делал математические вычисления. Наконец он сказал ликующим тоном:

— Превосходно! — Джеймс их вел, как прирожденный моряк.

Вот! — подумала Кэм, молча обращаясь к Джеймсу. Вот ты и дождался. Ведь она знала, что Джеймсу только того и надо было, знала, что он так теперь рад, что не будет смотреть на нее, на отца, ни на кого не будет смотреть. Сидит, как струнка, прямой, держит руку на румпеле и поглядывает, в общем-то, хмуро; поглядывает, наморщив лоб. Так рад, что никому ни крупицы своей радости не отдаст. Отец его похвалил. И пусть они думают, что ему это решительно безразлично. Вот ты и дождался, дождался, думала Кэм.

Они сменили галс и теперь на длинных раскачивающихся волнах, которые весело, пьяно их перебрасывали одна на другую, легко и быстро неслись вдоль рифа. Слева гряда скал буро сквозила в воде, а вода поредела и стала зеленой, и об

одну скалу, повыше, билась непрестанно волна, взметалась водным столбом, опадала душем. Шлепалось, стукало, шептались и шикали волны, катили, скакали и кувыркались, как дикие твари, расшалившиеся на воле, неслись взапуски без конца.

И вот уже видны двое на маяке, смотрят на них, готовятся их встречать.

Мистер Рэмзи застегнул пиджак, подвернул брюки. Взял большой неаккуратный сверток, который собрала Нэнси, положил к себе на колени. И — в полной готовности к высадке, — он сидел и глядел на остров. Может быть, дальнозоркими своими глазами он различал исчезнувший листик, торчком стоявший на золотом блюде? И что он видит? — гадала Кэм. У нее все расплывалось в глазах. Что он думает? — гадала она. Что он так пристально, старательно, так молчаливо искал? Оба они смотрели, как, простоволосый, он сидел со свертком на коленях и глядел, глядел на что-то смутное, едва уловимое, как сизый, тающий дым от того, что сгорело дотла. Чего ты хочешь, — хотелось обоим спросить. Обоим хотелось сказать: что угодно проси — мы дадим тебе. Но он у них ничего не просил. Сидел и глядел на остров и думал, наверное, — мы гибли, каждый одинок,

или он думал — я достиг, я добрался, но он не говорил ничего.

Потом надел шляпу.

— Возьмите эти свертки, — сказал, кивнув на вещи, которые собрала для маяка Нэнси. — Свертки для смотрителей маяка, — он сказал. Он встал и вытянулся на носу лодки, очень прямой и высокий, ну в точности, думал Джеймс, будто он говорит: «Бога нет!», а Кэм думала — будто вот сейчас он выпрыгнет в мировое пространство, и оба они встали, чтоб последовать за ним, когда легко, как юноша, прижимая к груди сверток, он выпрыгнул на скалу.

13

— Он, пожалуй, добрался, — вслух сказала Лили Бриско и вдруг ощутила немыслимую усталость. Потому что маяк стал едва различим, растворился в лазури, и вглядываться в него, и думать про того, кто на нем должен высадиться (одно и то же усилие, в сущности), было утомительно до безумия. Ах, зато на душе у нее полегчало. Чем бы там она ни собралась его одарить в ту минуту, когда он от нее отвернулся, теперь-то уж она его одарила.

— Высадился, — сказала она вслух. — Дело сделано. — Потом, сопя и пыхтя, старый мистер Кармайкл встал и воздвигся с ней рядом, старый языческий бог, косматый, — водоросли в волосах, трирема в руке (французский томик всего лишь). Он стоял с нею рядом на краю лужка, колыхался могучей массой, заслонял ладонью глаза. Он сказал:

— Они, верно, уж высадились, — и Лили поняла, что оказалась права. Вовсе не обязательно им друг с другом беседовать. Ее мысли текут в лад с его мыслями, он ей отвечает, и никаких вопросов не нужно. Он стоял, принимая в объя-

тья слабое, страждущее человечество; терпимо, сочувственно озирал его конечную участь. И — завершающим жестом, подумалось, — медленно уронил руку, как если бы с высоты своего огромного роста уронил венок из фиалок и асфоделей, и, медленно покружив, он лег наконец на траву.

Тотчас, будто ее окликнули, она повернулась к холсту. Вот она — моя картина. Да, зеленое, синее, текучие, одна другую подсекающие линии — притязанье на что-то. На чердаке повесят; замажут. Ну и что из того? — вскинулась она и снова схватилась за кисть. Посмотрела на ступени: никого; посмотрела на холст; все в глазах расплывалось. И вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот, на секунду, впервые — увидела, — она провела по самому центру уверенную черту. Кончено; дело сделано. Да, подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможенье, — так мне все это явилось.